ПИОНЕР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

П 29
34

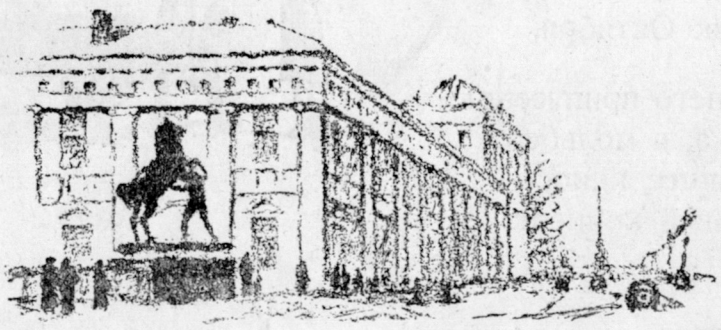
На этой карте отмечено то место, откуда была послана радиограмма тов. Кренкеля

Гос. Публичная Б-ка

№ 1

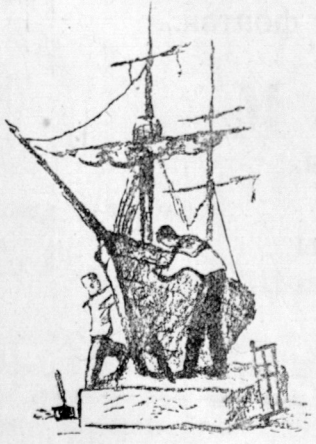
Январь 1938

Издательство ЦК ВКП(б) „Правда“



ДВОРЕЦ

С. Маршак *Рис. П. Кузьмичева*

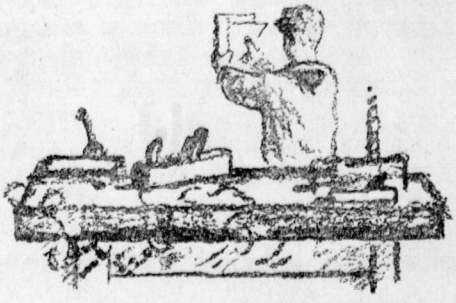


Фонтанка плещется, как встарь.
Над ней стоит дворец.
Но в дом, где жил когда-то царь,
Пришел другой жилец.

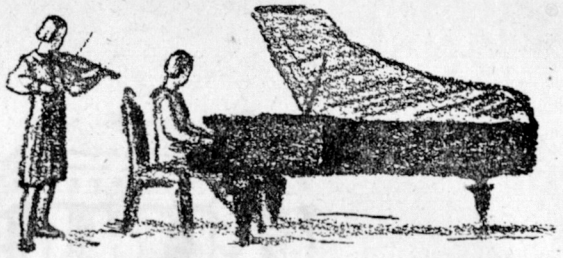
Не видно у резных дверей
Расшитых золотом ливрей,
И золоченый царский трон
Давным-давно убрали вон.

Никто дворца бы не узнал:
В нем не было таких
Приветливых концертных зал
И светлых мастерских.

Где праздной неги был приют,
Под сводами палат
Рубанки весело снуют
И молотки стучат.



Идет из школы во дворец,
В гостиные царя,
Строитель юный и борец —
Наследник Октября.

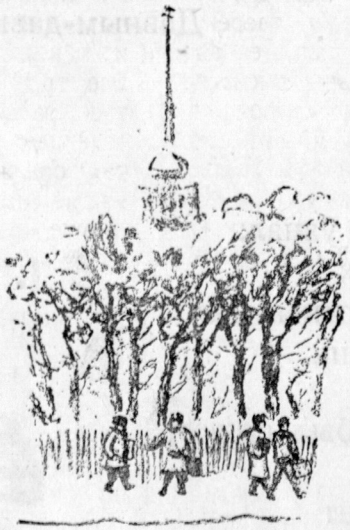


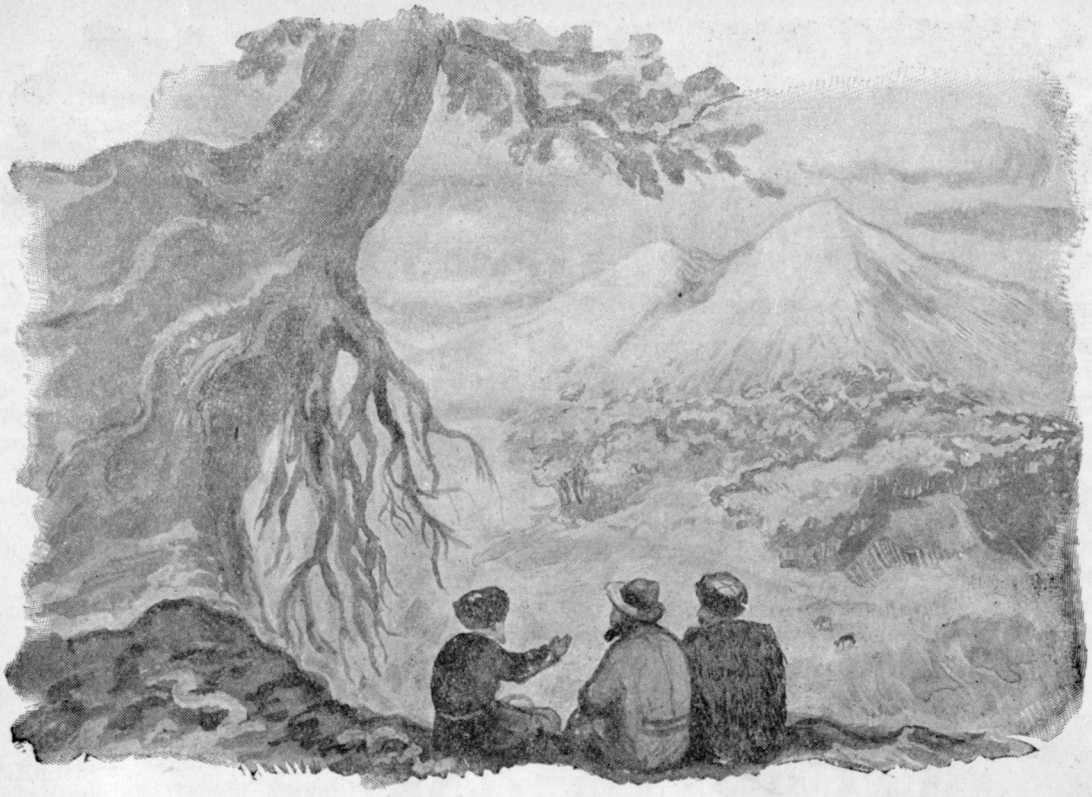
Все для него припасено:
И скрипка, и мольберт,
И говорящее кино,
И камерный концерт.

Он ловит звезды в телескоп,
Строгает в мастерской
Или сидит, нахмурив лоб,
За шахматной доской.

Здесь для него переплелись
Растенья жарких стран,
Сквозь стекла пальма смотрит ввысь
И вверх летит фонтан...

В подвалах выросли отцы
Под бременем нужды,
А детям — царские дворцы
И царские сады.





Мужество

Михаил Пришвин *Рис. В. Цельмера*

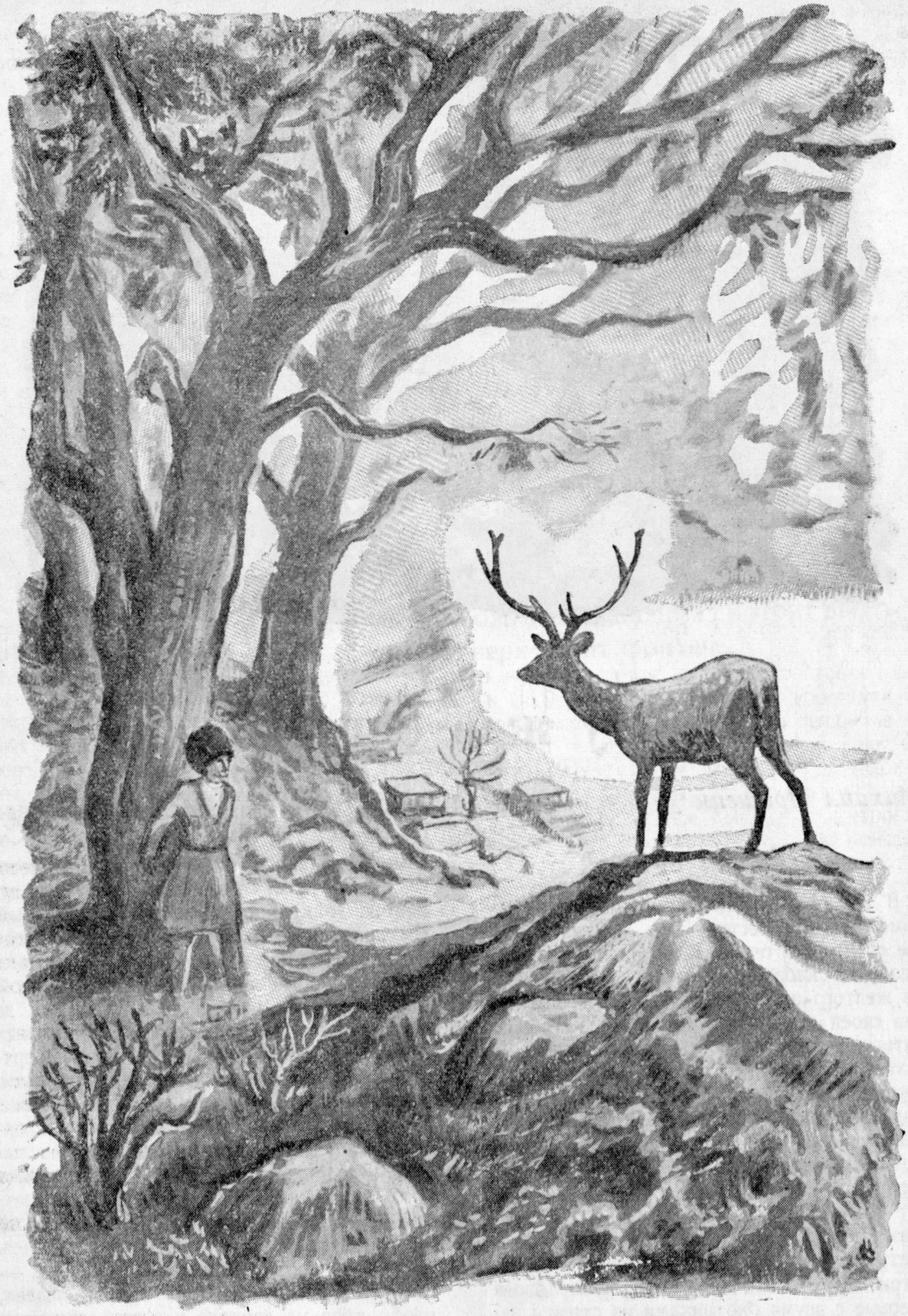
Желтая круча

В кабардино-балкарском заказнике любимейшее мое место — это Желтая круча, где собирается очень много разных зверей, особенно кабанов. Эта круча, сложенная из желтого песку, глины и гальки, высится над своей долиной не менее как метров на пятьсот и неустанно осыпается. Далеко, не доходя ее, во всякое время можно слышать шум рассыпающейся горы, а когда ближе подойдешь, то и глазами прямо видишь, как скачут камни с высоты вниз. Дорожка, по которой приходишь к Желтой круче, теперь у самого края пропасти, а пятнадцать лет тому назад, говорят, была в трех метрах от края: так вот, значит, за пятнадцать лет рассыпался пласт горы толщиной в три метра — это немало! Я пришел сюда впервые с двумя охотниками из стражи заказника, один был замечательный рассказчик и шутник—Люль, другой, Гарун, с болезненным лицом, очень молчаливый человек, зато основательный и, как мне думается, до крайности честный и верный. Мы пришли к самому краю горы и сели под деревом, корни которого обнажились и, как длинные косы, висели над бездной. Все трое мы довольно долго молчали: до того рассыпание горы было значительным явлением — не хотелось и говорить. Мертвая гора жила своей шумной жизнью, а мы, живые, притихнув, молчали, и звери тоже, множество разных зверей скрывалось в окружающем лесу, спали кабаны, мирно паслись олени и козы. Заметив несколько коз внизу, я спросил Люля:

— Как это козы вон там пасутся и не боятся шума?

— Коза хорошо понимает камень, — ответил Люль, — для того камень падает, чтобы коза не дремала и всегда помнила: не тут ли где-нибудь Люль?

Этим и начались рассказы Люля возле



Олень на тропе

Желтой кручи, но только на таком русском языке, что мне больше приходилось догадываться, связывая те или другие понятные слова, больше самому сочинять, чем прямо брать от рассказчика. В особенности трудно мне было понять значение слов какого-то магнита и какого-то дерманта, обозначавших какие-то силы. Да, я понимал, что это силы, но различия между магнитом и дермантом долго не мог себе уяснить, и для этого Люль вынужден был дать мне примеры и случаи из своей охотничьей жизни, по которым я бы мог догадаться, чем отличаются между собой силы магнит и дермант.

Саид

— Значит, — сказал я, — магнит — это сила, но что же такое дермант?

— И дермант — тоже сила, — ответил Люль.

И рассказал один случай из своих охот на медведей вместе с Саидом. Было это в Балкарии, на горной тропе. Саид стал в начале тропы, а Люль по ней перешел над пропастью, чтобы выгнать медведя на эту тропу к Саиду. Долго ждал Саид и не вытерпел, стал осторожно перебираться по тропе на ту сторону, к Люлю. И только доходит до середины, медведь тоже сюда лезет, и двум уж тут на узкой тропе не разойтись. Не успел выправить винтовку, медведь обхватил Саида лапами, впустил когти в спину, стал прижимать к скале. Саид спрятал голову у медведя под лапой, как птица под крыло, и впустил в него кинжал по самую рукоятку. Медведь заревел и так сильно вздрогнул, что не удержался на тропе и покатился вниз в обнимку с Саидом. Пока вниз катились, медведь кончился, но когтей из спины человека не выпустил. Люль все видел, сел у пропасти, воет и стонет, оплакивает гибель своего любимого начальника. А Саид и слышит, как плачет Люль, хочет крикнуть и не может: очень ему плохо. После, когда Люль спустился и понял, что жив Саид, пришлось каждый ноготь медведя из спины Саида вырезать ножиком, и Саид ни разу не застонал. И целую неделю потом у костра Люль сидел и повертывал Саида к огню: так Саид мучился, так метался в жару, но ни разу не простонал. Через неделю Саид встал и пошел. И это, значит, в нем был дермант.

Басни Крылова

Выслушав рассказ о Саиде, я подумал, что между магнитом и дермантом нет никакой разницы: там и тут это сила; но почему та же сила и два названия: магнит и дермант, — этого понять я не мог, и Люль стал наводить меня на различие между силами каким-то другим путем, другими рассказами.

Бывает, рассказывал он, человек самый умный, самый образованный, даже басни Крылова знает, а нет магнита, и нет ему на охоте удачи, никогда. Раз было приехал такой гость к Саиду из Москвы на охоту самую опасную, на кабана. Гость подумал, зачем ему лезть на клыки. Он ведь знал басню Крылова и по басне знал, что свинья не может глядеть вверх, а если бы могла, то знала бы, на дубу висят жолуди, — и не стала бы подрывать дерево, откуда ей падает пища. Так сказано в басне, и, вспомнив Крылова, гость велел себе устроить помост на дереве и сел туда. Вокруг дерева Люль густо посыпал зернами кукурузы, до которой кабаны большие охотники. Люль хорошо знал, где проходит самый большой гурт кабанов, и стал там нажимать и завертывать свиней к дереву, на котором сидел ученый человек. Люль нажимал только тем, что ломал тонкие сучки на кустах. Услыхав этот треск, первый гуртовой секач, Боа, остановился, сделал свое кабанье «ш-ш-ш!» и повел весь гурт в сторону ученого. И как только Боа увидал кукурузу, он сейчас же подумал об опасности, поднял голову, встретился с глазами профессора, сделал «ш-ш-ш!» — и все огромное стадо понеслось обратно в чащу.

Оказалось, в басне свиньи не могут смотреть вверх, а в жизни глядят. Профессор знал только басни...

— Что же это, — спросил я Люля, — у профессора не было, значит, магнита?

Люль ответил:

— У этого ученого ни магнита не было, ни дерманта.

Дон-Кихот

Однажды к Саиду приехало много отличных военных охотников, и среди них был художник. Все военные, само собой, были наездники, а художник верхом никогда не ездил. Но ему было стыдно сказать военным, что на коня он никогда не садился.

— Поезжайте, — сказал он им, — а я вас догоню.

Все уехали, и, когда скрылись из глаз, художник подходит к своему коню, как его учили, с левой стороны — и это было правильно — с левой; а вот ногу он поставил в стремя неправильно: ему надо было левую ногу поставить, он же сунул правую в стремя и прыгнул. И, конечно, прыгнув с правой ноги, он повернулся в воздухе и очутился на лошади лицом к хвосту. Конь был не особенно горячий, но какой же конь выдержит, если всадник, чтобы удержать равновесие, схватится за хвост! Конь во весь карьер бросился догонять охотников, и скоро военные люди с изумлением увидели необыкновенного наездника, скачущего лицом к заду и управляющего конем посредством хвоста.

— Это рассеянность, — сказал я Люлю, — подобный случай был с рыцарем Дон-Кихотом, когда конь его представил обратно в конюшню. Автору следовало бы посадить рыцаря с левой ноги. Это просто рассеянность, причем же тут магнит и дермант?

— Нет, это не рассеянность, — сказал Люль, — у него не хватило дерманта сказать военным правду, что на лошадь он никогда не садился. Никакого магнита не нужно, чтобы сказать людям правду, но дермант нужен, и это единственный путь к правде, через дермант.

Гарун

При последнем рассказе Люля о малодушном художнике мне стала, наконец, проясняться разница между силой магнита и силой дерманта, а тут совсем неожиданно заговорил Гарун, и русское слово для обозначения силы дерманта, наконец-то, явилось. Выслушав последний рассказ Люля, Гарун сказал:

— Если человек здоровый и может бороться с медведем, то это просто магнит, а если человек нездоров и все-таки может бороться...

— Больной с медведем не может бороться, — перебил его Люль.

— Я не говорю, что с медведем, — сказал Гарун, — человек может с самим собой бороться больше чем с медведем.

И он рассказал нам подробно, как делали ему операцию в животе. Доктор велел ему вдыхать газ.

— Зачем газ? — спросил Гарун.

— Чтобы не больно, — сказал доктор.

— Не хочу газ, хочу понимать.

— Трудно терпеть.

— Могу все терпеть.

Стали резать. Было холодно. После стало жарко. После слезы, много слез. А легче...

— Кончили? — прошептал Гарун.

— Да, мы кончаем.

— Покажи!

Показали красный кусочек кишки.

Гарун поднял голову и увидел весь свой вскрытый живот: там кишки были синие.

— Зачем там синий, а тут кишка красный?

— Красный кусок — больной кусок.

После того Гарун стал слабеть и спрашивать больше ничего не мог. Он лежал, как мертвый, и все говорили вслух, как будто он ничего больше не мог понимать. Он же все слышал и понимал. Дверь отворилась, чей-то голос спросил:

— Жив?

— Еще жив, — сказал доктор.

Когда укладывали на носилки, ничего не слыхал, но, когда понесли, слышал.

В коридоре кто-то сказал:

— Кончается?

— Плох, но еще жив.

В это время Гарун сказать не мог ничего и пошевельнуться и дать знать рукой не мог. Если бы мог он в ту минуту сказать! Если бы мог, он сказал бы тогда докторам:

— Гарун будет жив!

И остался Гарун жив и убивает много кабанов и медведей.

— Вот он, — воскликнул Люль, — вот она сила дермант!

И все стало совершенно понятно: магнит — это просто сила, а дермант, — значит, мужество. Стали понятны также и слова Люля о том, что дермант (мужество) — единственный путь к правде.

Ледокол „Иосиф Сталин“

На ленинградском судостроительном заводе имени Орджоникидзе строится самый большой, самый мощный ледокол во всем мире. Его длина — 106 метров. Водоизмещение — 11 тысяч тонн, на 2 тысячи тонн больше «Красина». Три паровые машины с девятью котлами будут развивать 10 тысяч лошадиных сил. Новому ледоколу нестрашны никакие льды.

Несколько радиостанций ледокола всегда обеспечит ему связь с полярными станциями и Москвой.

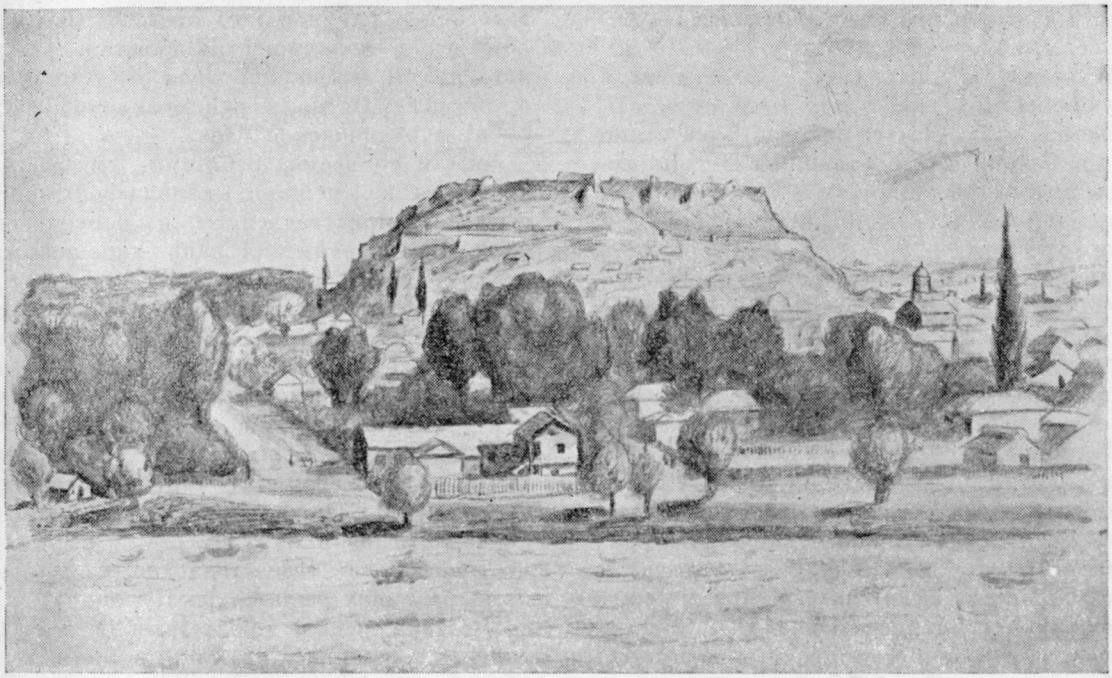
Десятки ученых будут работать в химической и биологической лабораториях.

Один из аварийных насосов ледокола может выкачать в час 1500 кубических метров воды — целое небольшое озерко.

А три самолета в полной готовности будут стоять на палубе корабля.

Сосо Джугашвили.

Портрет И. В. Сталина в возрасте 14 лет, когда он был учеником Горийского училища.



На родине Сталина

Б. Ивантер *Рис. П. Кузьмичева*

Гори

Высокая каменистая, коричнево-желтая гора с древней крепостью видна издали. Под этой горой небольшой городок. Из сплошной зелени садов кое-где поднимаются красноватые крыши или стены из серого камня. Город спрятался в садах, а зелень садов окружена еще поясом стремительных, пенистых рек.

В город входишь по мосту через Куру. Сентябрь. В горах прошли дожди, и вода в реке несет столько песку, что и на воду непохожа — настоящее кофе с молоком. По мутной, бешеной реке несет буйвола. Видны только его ноздри да мокрый черный бок. Он знает силу течения и не сопротивляется ему, а только изредка поворачивает морду. Где-то, полукилометром ниже, его прибивает к мели, он лениво подымается и выходит на сухое место.

Удивляешься тому, сколько силы в этой небольшой реке, бегущей по неглубокому каменистому ложу. Она движет все поезда, проходящие мимо Гори. Железная дорога от Тбилиси до Сурамского перевала и дальше электрифицирована, поезда тянут электровозы, которые получают ток от Земо-Авчальской электростанции, построенной на Куре, возле Мцхета. Походя Кура освещает и Мцхет, и Гори, и Хашури, и все городки на пути электрического тока.

Входишь в город с волнением. Каков он? Что еще в нем осталось от того времени, когда по городским улицам да по берегам Куры школьником бегал маленький Сосо Джугашвили. Этот городок — родина Сталина. Здесь начал формироваться характер человека, давшего свое имя величайшей в мире эпохе.

Широкая улица Ленина — обычная улица небольшого южного города, покрытая асфальтом, обсаженная деревьями, уставленная новыми домами — прорезает весь город до самой крепости. По бокам улицы журчат два быстрых желтых потока, заключенных в бетонированные канавки. Это горные потоки протекают через город в городской одежде. Кроме этих ручьев ничто не отличает улицу: большие магазинные витрины, электрические фонари, фаэтоны, запряженные парой, два—три автомобиля... Да есть ли где-нибудь здесь остатки прежнего Гори?

На улицу Ленина выходят переулочки. Заглядываешь в один, в другой и видишь

рядом с нынешним Гори вчерашний и позавчерашний.

В кривых переулочках старые дома с балкончиками. Окна в них выходят на эти балконы, и в комнатах должно быть темно и прохладно. Этим домишкам лет по семидесяти — восьмидесяти. Они скрипят, когда проходишь мимо них, и едва ли долго протянут. В одном из переулков видишь дом еще на полвека старше—казначейство — приземистое, прочное здание с решотками на окнах. На его обитой железом двери висит металлическая колотушка, заменявшая сто лет назад входной звонок.

Горийцы обходят эти переулочки — в них тихо. Изредка проскрипит арба, пройдет женщина с глиняным кувшином. Гори живет теперь на широких улицах. Он прокладывает их, разрушая старые дома, и новые улицы ложатся в ширину трех прежних переулочков. Однако и старых домов, и заглохших тупиков, и мостовых, избитых копытами буйволов, еще довольно, чтобы представить себе Гори таким, каким его видел Сталин в детстве. Должно быть, он сотни раз пробегал по этому кривому, лезущему вверх переулочку, который ведет от старого здания духовного училища в верхнюю часть города.

В его детстве по этим улицам и переулочкам проходили шествия горийских цехов — амкари. В дни своих праздников, в дни свадеб или похорон членов амкари на улицы выходили цеха: сапожники, гончары, пекари — с цеховыми бахромчатыми знаменами, со старшинами-устабаши во главе. Было шумно. Зурна, сазандари, дудуки звонкие, пронзительные, тягучие слышны были во всем городе.

Поднимаешься выше из нижней части города — Квемо-убани в верхний — Земо-убани. Вот площадь Оконской церкви. Самой церкви давно уже нет. На ее месте сквер. Здесь, на этой площади, начинались знаменитые кулачные бои между Квемо- и Земо-убани. В этих боях участвовало подчас больше тысячи горийцев. Говорят, что земоубанцев — жителей верхней части города — было больше и они предпочитали драться на широкой улице, а квемоубанцев было меньше, но дрались они лучше и предпочитали выставлять своих малочисленных бойцов в узком переулочке.

Драку начинали ребятишки. Они налетали друг на друга как петушки. Взрослые с обеих сторон прикидывали, каковы растут бойцы, до поры до времени не вмешиваясь в мальчишеские схватки. Говорят, что и маленький Сосо Джугашвили принимал участие в рядах земоубанских ребят и отличался в боях.

Вместе со всеми ребятами Сосо бегал за процессией кейноба—карнавальным шествием с представлением о персидском царе. Сам персидский царь, украшенный всеми знаками царской власти, в плаще из разноцветной бумаги, пышный как павлин, сидел верхом на осле, задом наперед, держась за ослиный хвост. За ним на ослах же следовала пышная свита: визири, писцы, телохранители в пестрых одеяниях, в масках. С шумом и свистом персидского царя возили по городу на потеху всему народу, пока вконец освистанного не сбрасывали в Куру вместе со всей его пестрой свитой. Представление кончалось, и мокрый шах вылезал из Куры.

Шествия цехов, представления о персидском царе — все это были веселые зрелища, народные праздники, которые любили все горийцы, и маленькие и большие. Но в старом Гори бывали и мрачные зрелища. Одно из них произошло на глазах Сосо Джугашвили.

Полицейские власти, встревоженные разбоями в Горийском уезде, решили для устрашения населения публично повесить трех пойманных разбойников. На берегу Цминда-цхали, единственной чистой и прозрачной из четырех горийских рек, возле крепости, у старой тюрьмы, были построены виселицы. Разбойников вешали на глазах у всего Гори. Сосо и приятель его Сандро, сын соседки Марии Цихитатришвили, пошли посмотреть на казнь. Зрелище оказалось отвратительней и страшней, чем они могли ожидать. Оно ужаснуло ребят. Сандро целый год боялся темноты и просыпался в страхе по ночам. Что, кроме ненависти и презрения к полицейским палачам, могла внушить ребятам эта казнь?

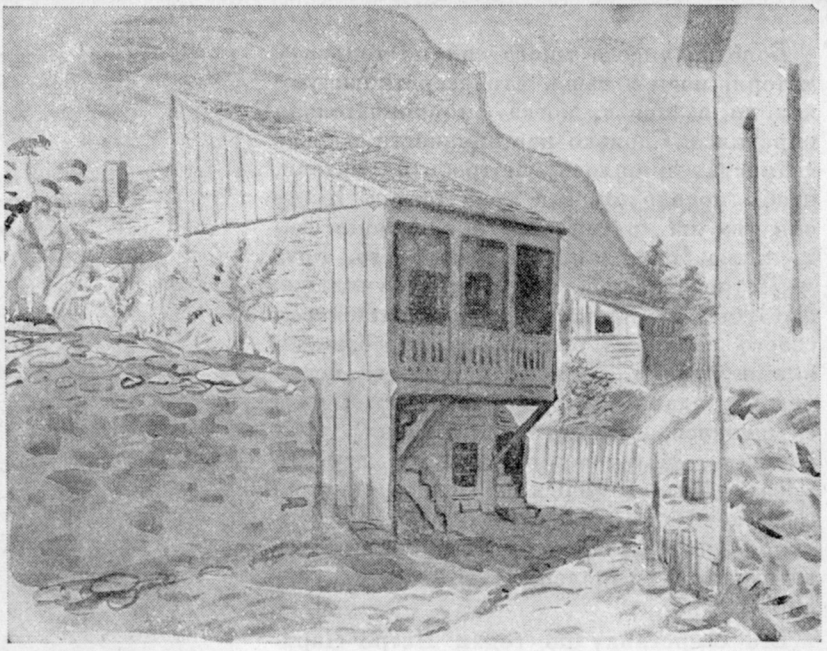
Разбойников, впрочем, эта казнь не испугала. В уезде их стало еще больше.

Я спрашивал у прохожих в верхней части города, где Русис-убани, русский квартал. В этом квартале жила семья Джугашвили, здесь недалеко были солдатские казармы, поэтому и квартал назывался русским. Никто из прохожих не знает, что такое Русис-убани, это название исчезло.

От базара петляешь переулочками, и вдруг они расступаются. На широком пространстве стоит домик, такой, каких де-

сятки вокруг, одноэтажный, маленький, кирпичный. Он защищен от непогоды стеклянной крышей, оправлен в мрамор и окружен железной оградой. Только возле самого домика, на метр — на полтора оставлена старая булыжная мостовая. Мраморные плиты подходят к ней вплотную.

В этом домике родился Сталин. Здесь, у входа в подвал дома, в холодке работал отец Сталина сапожник Виссарион Иванович Джугашвили, прекрасный мастер, чьи сапоги славились по всему Гори. Здесь он работал молодым, статным, пока нужда не сгорбила и преждевременно не состарила его.



Старая часть города

Заглядываешь в дверь одной из комнатушек. Их всего две в этом доме. Комната обставлена так же, как тогда, пятьдесят—шестьдесят лет назад: низкая тахта, стол, комод, медный самовар на комоде да расшитая туфля для часов на стене. Теперь это музей. В домике чисто, так чисто и опрятно, как было, когда здесь жила Екатерина Георгиевна Джугашвили, или, как ее называли по-грузински, Кеке.

Одна из соседок Екатерины Георгиевны рассказывает, что ее уменью вести свое бедное хозяйство, держать в идеальной чистоте дом, одевать мальчика дивились все окрестные хозяйки.

Мать

Вглядываешься в эту комнатушку, и перед глазами возникает образ недавно умершей матери Сталина.

Сосо был третьим ребенком в семье Джугашвили и единственным, который выжил, двое первых умерли, не прожив и месяца. Сколько материнской заботы, сколько сил нужно было, чтобы уберечь третьего, который казался таким хрупким и болезненным! Тревога не покидала мать в первые годы жизни ребенка.

Оспа, пришедшая в Гори, не обошла ее дома. Маленький Сосо заболел. У соседей Егнаташвили страшная болезнь унесла в один день троих сыновей. Горийцы верили, что над городом летают черные ангелы оспы. Эти зловещие ангелы, крылатые носители смерти, почему-то требуют, чтобы люди в их честь пели веселые песни и приносили жертвы. По древнему поверью, им приносили в жертву белых кур, но оспа поражала людей одного за другим, не глядя на молитвы и приношения. У Сосо была тяжелая форма болезни. Никто не думал, что мальчик перенесет ее, когда умирали взрослые, сильные люди. Мать не спала ночей, не отходила от постели, и Сосо обманул ангелов оспы: они оставили только следы на его лице и руках.

За болезнью пришла нужда. Мать отстаивала сына от нужды. Она старалась кормить его лучше, чем кормили других детей в квартале, одевать его акуратней, но это стоило ей тяжелого труда с утра до вечера за корытом или за шитьем. Семнадцать лет она не выпускала иголки из рук, зарабатывая по 40—60 копеек в день.

Сосо подрос, наступили новые заботы. Надо было мальчика учить. А как пробиться сыну сапожника к ученью? Но мать решила пробить мальчику дорогу. Для сына она была честолюбива. В городе считалось лучшим духовное училище, и она поставила себе целью поместить сына именно в это училище. Во что бы то ни стало, ценой любых лишений.

Болезнь унесла много сил не только у матери, но и у сына. Его сверстники уже ходили в школу, когда он окончательно оправился. Сколько настойчивости и даже хитрости пришлось употребить матери, чтобы преодолеть все препятствия! Жили они уже на другой квартире, в доме священника Чарквиани. Оба сына его, Котэ и Петре, учились в духовном училище. Котэ был в старшем классе и натаскивал своего младшего брата, который был ленив и туповат. Котэ заставлял его вслух читать заданное. Сосо был тут же, прислушивался, а потом повторял урок наизусть. Мать попросила Котэ выучить Сосо азбуке, и через несколько месяцев Сосо обогнал Петре и был готов к вступлению не в младшее, а в среднее подготовительное отделение духовного училища.

Его сверстнику по годам Петре Чарквиани ничего не стоило поступить в духовное училище: оно содержалось за счет духовного ведомства для детей духовенства, но особой милостью считалось принять туда сына крестьянина или ремесленника.

Однако мать добилась и этого: Сосо был принят в училище.

Скромная женщина, родившаяся в пригороде Гори, никогда оттуда не выезжавшая, становится решительной и мужественной, когда дело касается сына. Сын кончает духовное училище и едет в Тифлис.

Счастливейшее время в жизни матери. Она мечтала видеть сына взрослым, на широкой жизненной дороге. Он уже почти взрослый, на верхней губе пробиваются усы. Его принимают в Тифлисскую семинарию. Правда, он уже не будет жить возле матери — это горе примешивается к ее радости. Но жизнь уже стала легче, и Екатерина Георгиевна совсем счастлива, когда Сосо в форме семинариста, приехав на каникулы в Гори, сидит возле нее, в ее небольшой комнатушке. Приехав из Тифлиса, он привез ей свою семинарскую порцию сахара, и мать счастлива: ей дорого внимание сына.

Но беспокойство скоро приходит снова. Сосо становится молчалив. Что с ним? Скоро по горийским переулочкам до нее доходят слухи о Сосо. Говорят, что Сосо стал бунтарем. Она слышала, что был когда-то семинарский бунт, после которого бунтарей выгоняли из семинарии. Она заключила, что бунт — нехорошее дело. Она летит в Тифлис спасать сына. По дороге она узнает еще более тревожные вести. Бунтари хотят свергнуть с престола царя Николая. И сын ее такой же бунтарь, и он пошел на Николая Второго. Она знала о последствиях первого семинарского бунта и видела уже разрушенной этим неожиданным обвалом всю жизненную дорогу сына. Но в Тифлисе перед ней стоял ее Сосо, в семинарской форме, прежний, внимательный и ласковый сын.

Екатерина Георгиевна Джугашвили.

Уехала она все же в тревоге.

Одна за другой приходят новые беды. Сын уходит из предпоследнего, пятого класса семинарии. Он уже не приезжает к матери. Она не знает, чем он занят. Тревога уже не покидает ее. Она еще не понимает, какая сила отбросила от нее сына, выхоженного и воспитанного ценой такого труда и таких лишений. Она еще не понимает, почему сын, так блестяще начавший выбранный ею путь, не пошел по нему дальше.

Началось новое время в жизни матери. Теперь уж не она воспитывала сына, а сын своей жизнью, своей выбранной им самим дорогой показывал матери другую

цель, счастье не одного сына, а счастье миллионов сыновей и миллионов матерей.

Кеке Джугашвили стала матерью революционера, и теперь, как и прежде, она всю свою жизнь отдавала на то, чтобы теми силами, какие у нее были, облегчить суровую и трудную дорогу сына.

Она, конечно, одна из счастливейших матерей: на закате своей жизни она увидела сына даже не таким, каким она его мечтала видеть, а таким, каким и мечтать не могла.

Портрет этой скромной и мужественной женщины в грузинском головном уборе висит во второй комнате, рядом с портретами сына. Этот головной убор — круглая шапочка, покрытая черной накидкой — обрамляет выразительное и красивое красотой старости лицо матери Сталина.

Она сделала все, что могла сделать лучшая мать для своего сына: оберегала его от жизненных невзгод в детстве, помогала опериться в ранней юности. Ее образ возникает перед нами у этого маленького кирпичного домика.

Духовное училище

Здание духовного училища — прекрасное здание для старого Гори. За 50 лет оно изменилось. Землетрясение 1920 года, разрушившее половину Гори, разрушило второй этаж этого здания: креста нет над училищной церковью, впрочем, и церкви самой нет, а в училище вместо сыновей уездных священников учатся горийские ребята и девушки. Здесь плодоовощной техникум. Техникум занял все здание, только две комнаты оставлены как память о прошлых днях, когда здесь мальчиком учился Сталин.

На стене одной из комнат фотография — группа детей с учителем пения Симоном Гогличидзе. Среди них, в заднем ряду, самый маленький в группе, на голову ниже своих соседей, стоит, подняв голову, Сосо Джугашвили. У него смелое и серьезное лицо. Судя по лицу, он не только смелый, но и отчаянный. В Гори, рассказывают, был знаменитый кучер-лихач Нагижари, у него была пара совершенно диких лошадей, и он мчался на них по горийским улицам, пугая прохожих. За этим-то лихачом погнался Сосо Джугашвили, чтобы вскочить на подножку его фаэтона. Он совсем было догнал фаэтон, но неудачно прыгнул, попал под колесо и чуть не погиб. Его принесли домой без сознания. Этот случай дорого стоил его матери. Позже он научился сдерживать себя. Товарищи не помнят больше ни одного случая такого ненужного, отчаянного молодечества и бесцельного удальства, хотя он оставался тем же смелым и ловким мальчиком.

Учился он прекрасно. Поразив всех ребят тем, что он, сын сапожника, поступил сразу в средний приготовительный класс духовного училища, он занял в нем первое место и уже до окончания школы никому его не уступал. Учиться в этой школе было нелегко. Школьники, придя в школу, не знали никакого языка, кроме грузинского, а учили в школе по-русски. Но маленькому Джугашвили ученье давалось легко. Ему не приходилось готовить дома устных уроков, так хорошо запоминал он их в школе.

И учителя, о которых стоит рассказать подробнее, учителя-держиморды, ставили ученику Джугашвили пятерки, да еще приписывали на полях письменных работ: «Браво!», «Великолепно!»

Учителя

Выцветшая за сорок лет фотография выпуска 1894 года ставит нас лицом к лицу с учителями и руководителями духовного училища.

Вот инспектор Бутырский. Одутловатое лицо с клочковатой бородой и холодными свинцовыми гляделками. Это главный обершпион училища и преподаватель греческого языка. Ему было удобно шпионить за учениками старших классов. Его квартира находилась рядом со старшим классом училища, рядом с той комнатой, которая сохранена как музей в плодоовощном техникуме.

Бутырский был черносотенец. Он ненавидел грузин, обзывал их дикарями и не упускал случая, чтобы поиздеваться над учениками-грузинами. Однажды он до того довел одного из учеников, Петре Адамашвили, что тот, не выдержав, швырнул ему в лицо свою сумку с книгами.

Неслыханное событие! В духовном училище, в рассаднике благочестия, ученик поднял руку на воспитателя! Не будь Петя сыном члена училищного совета, бывшего полкового попа, который славился по всей епархии, его в тот же день вышвырнули бы из училища с волчьим билетом. Но и самому училищу выгодней было замять это дело, чтобы не подвергать опасности честь заведения. Петя Адамаш-

вили отделался тремя днями карцера, да еще дома отец его как следует высек своим широким кожаным поповским поясом.

Бывало, ученики мстили нелюбимым педагогам, разбивая стекла в их квартирах. Петя был отомщен иначе.

Бутырский знал свой предмет неважно и учил плохо. Школьники скучали на его уроках, отлынивали от ненавистного греческого. Один только Джугашвили не пренебрегал уроками этого бездарного педагога. Бездарен был педагог, язык сам по себе был интересен, и скоро ученик стал разбираться в нем лучше учителя, а разобравшись, увидел, сколько ошибок делает этот горе-преподаватель.

Вскоре после истории с Петей Бутырский вызвал Сосо Джугашвили к доске и стал спрашивать урок. Сосо отвечал.

— Прекрасно, садись на место,— кивнул ему Бутырский, собираясь поставить пятерку.

Но Джугашвили и не думал садиться на место. Он вовсе не находит, что ответил прекрасно. Вернее, пожалуй, будет иной ответ, более точный...

— Не нужно, не нужно, садись,— прерывает его Бутырский.

Но Джугашвили не унимается, точно и без промаха он показывает классу все ошибки Бутырского, одну за другой. Бутырский корчится, как на углях; Сосо Джугашвили отчитывает его как ученика, который не знает урока. Кто же учитель здесь, в этом классе, чорт возьми, он, инспектор Бутырский, или этот вот мальчишка, который позорит его перед всеми школьниками?

— Довольно! — крикнул, наконец, вышедший из себя, взбешенный эллинист.

Этим мучения эллиниста не окончились. Сосо заглянул вперед и подготовился к новому, еще не об'ясненному уроку лучше чем учитель. Бутырский, понемногу забывавший то, чему его учили в университете, никогда не готовился к урокам и был снова посажен в лужу.

Между тем проступок сына поставил отца Адамашвили в неловкие отношения с преподавателями училища. Надо было как-нибудь загладить всю эту историю. Он придумал устроить званый обед и пригласить на него всех преподавателей училища. Конечно, первым приглашен был Иван Васильевич Бутырский, столь обиженный его сыном.

Бутырский прикатил на извозчике, но не отпустил его, а велел ждать у крыльца. На Кавказе обеды, да еще званые, с вином и длинными тостами, тянутся долго. Иван Васильевич сидел как на иголках и все время поглядывал на часы. Не дождавшись конца обеда, он поднялся, чтобы уходить.

Уйти посреди обеда — это вызов и оскорбление хозяину. Отец Адамашвили был вспыльчив и обидчив, он подумал, что Бутырский не хочет идти на мировую.

Чтобы не вызвать ссоры, Бутырский должен был об'яснить настоящую причину своего раннего ухода.

Оказалось, что в этом был виноват не кто иной, как ученик Джугашвили, который взял себе за правило срезать учителя и заставляет его готовиться к каждому уроку, как к государственному экзамену.

— Блестящих способностей мальчишка, но никуда негодное воспитание. Чорт знает, что о себе думает. Прошу извинения, прощайте, господа.

В школьных анналах сохранилось немало рассказов о том, как Сосо издевался над учителями-чиновниками. В связи с Бутырским припоминают другого эллиниста, Гартинского, преподававшего в семинарии. Это был двойник Бутырского, такой же черносотенец, такой же скверный педагог.

В Тифлисской семинарии на одной из контрольных письменных работ Сосо, вместо того чтобы переводить написанные на доске греческие тексты из Фукидида и Эзопа, стал рисовать на контрольном листе с печатью семинарии узор из виноградных листьев. Товарищ, сидевший рядом, рассмеялся, когда увидел, что вытворяет Сосо на контрольном листе. А тут еще Сосо стал вписывать между виноградных листьев узорным почерком на грузинском языке начало грузинской сказки про воробья и лисицу:

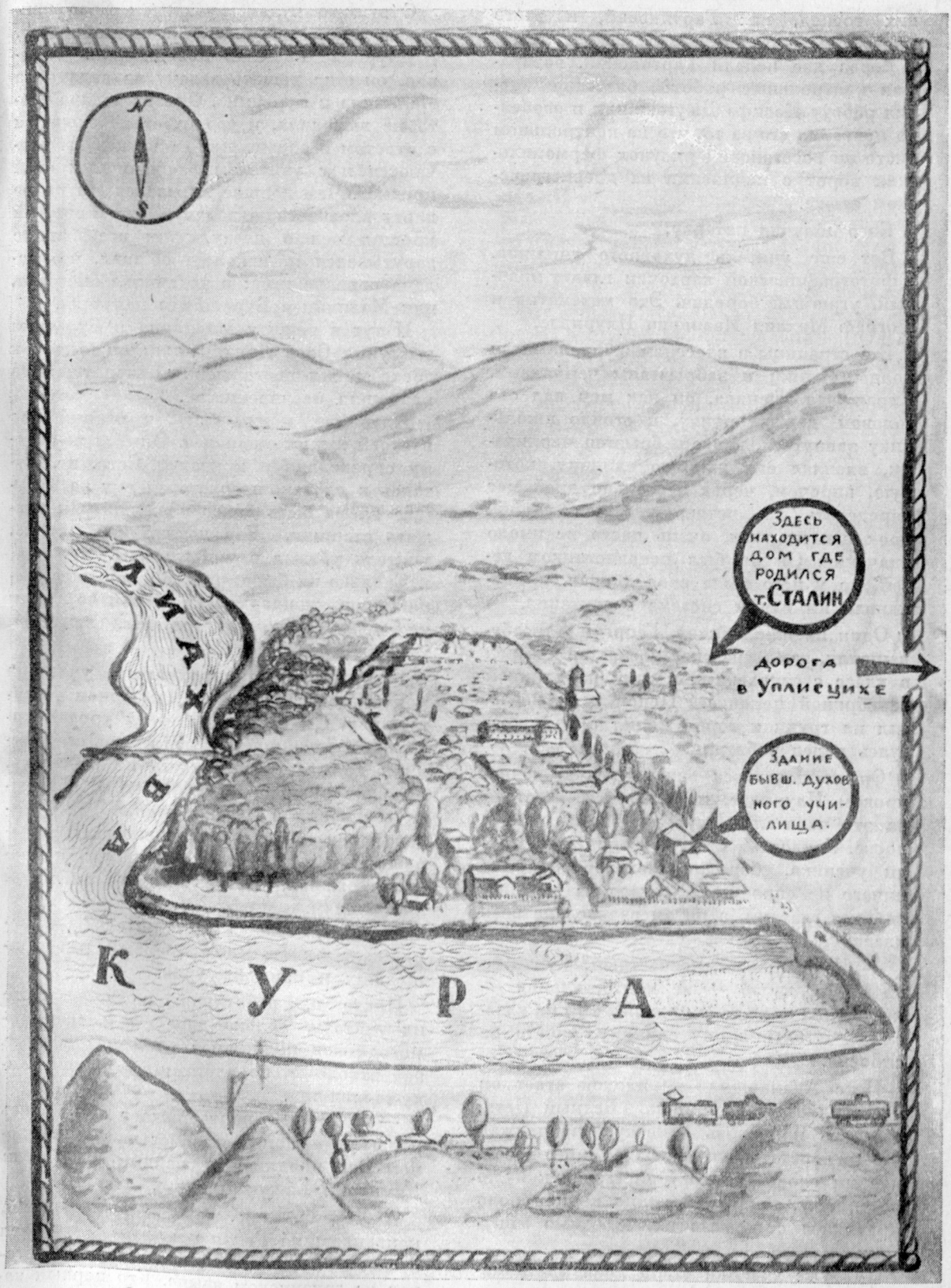
«Чито, чито, чиорао! (Птичка, птичка, пташечка!)

Рао, батоно мелао?» (Что, госпожа лисица?)

Почти целый час разрисовывал Сосо контрольный лист, а за пять минут до звонка, не торопясь, стал туда же вписывать переводы.

— Ты с ума сошел, Сосо,—зашептал ему товарищ,— ведь лист-то измаран. Дайка я попрошу для тебя новый лист.

— Неважно — ответил Сосо. — Для та-



Так расположен город Гори.

ких господ, как Гартинский, и этого много.

Через две недели Гартинский, возвращая контрольные работы, блестяще оценил работу Иосифа Джугашвили и особенно похвалил его за то, что на контрольном листе он восстановил рисунок фермопильских ворот с надписями на древнегреческом языке.

Сосо получил пятерку.

Вот еще учитель духовного училища. С фотографической карточки глядит мрачный, угрюмый бородач. Это математик и географ Михаил Иванович Илуридзе.

Его страницы в классном журнале были полны единиц и забрызганы чернилами. Спрашивая ученика, он как меч над его головой держал ручку, и стоило школьнику запнуться, как он, брызгая чернилами, влеплял ему жирную единицу, которую, впрочем, через несколько дней мог переделать на четверку. Знал ученик урок или не знал, очень часто не имело значения. Он не был ненавистником детей, но у него была своя личная, придуманная им самим система воспитания.

Один из школьников, Георгий Елисабедашвили, как-то на свое несчастье пришел в класс с отцовскими часами на длинной серебряной цепочке. Цепочку он развесил на груди и гордо ходил с ней, красуясь перед ребятами.

Он не догадался снять цепочку перед уроком Илуридзе, и судьба его жестоко за это наказала. Илуридзе вызвал его к доске. Увидев блестящую цепочку на груди ученика, бородач некоторое время ничего не спрашивал, глядел на нее зловещими глазами, а потом взревел на весь класс:

— Кто ты такой, несчастный? Кучер — не кучер, кинто — не кинто, ученик — не ученик, чорт тебя подери? Вон из класса! — и влепил ему единицу, ничего не спросив.

Пете Адамашвили за плохой ответ он поставил в журнале ноль. Бедный Петя, стараясь поправить отметку, продолжал что-то лепетать, но за каждое произнесенное им слово педагог приставлял к нулю по минусу, так что в конце концов ноль получился с шестью или с семью минусами.

Тут уже ученики стали доказывать математику, что ноль есть ноль и вычитать из него что-нибудь совершенно бесполезно.

С этим-то чудаком-учителем Сосо пришлось как-то вступить в единоборство. Илуридзе об'яснял новый урок. Об'ясняя, он стал решать задачу из задачника Малинина и Буренина. Однако задача что-то не выходила, и его ответ не сходился с ответом в задачнике. Такие казусы случаются и с учителями, знающими свой предмет. Чем дольше вгрызался Илуридзе в эту злосчастную задачу, чем яростней крошил мел о доску, тем все больше запутывался и, наконец, об'явил, что задача неразрешима: в задачнике опечатка, или Малинин с Буренинным напутали.

И тут в защиту Малинина и Буренина выступил Сосо Джугашвили: он вышел к доске и под восторженный шопот класса разрешил неразрешимое.

Илуридзе, может быть, в первый раз в своей жизни смешался. Он был по-своему справедлив и похвалил Сосо, но, путаясь в словах, посоветовал ему на будущее время быть более послушным и уважать старших. Еле дождавшись звонка, учитель убежал в учительскую.

Сколько их было, чудаков, маньяков, чиновников, жандармов, и как мало среди них было честных, сердечных людей и умелых воспитателей!

Галерею чудищ духовного училища можно дополнить еще Димитрием Хахуташвили. Он вводил на своих уроках армейскую дисциплину: маленькие его ученики должны были сидеть не шевелясь, положив руки на парту перед собой, глядя все время в глаза учителю. Так и сидел перед ним класс окаменевших, замороженных детей. Если кто-нибудь не вовремя оживал, учитель бил его линейкой по пальцам.

— Дети, кто ваш учитель? — вопрошает он малышей, первый раз пришедших к нему на урок.

Никто из ребятишек не знает, кто их учитель. Только двое смельчаков-второгодников поднимают руки и отвечают, как заводные, по слогам: «Димитрий Хаху-та-шви-ли».

— Верно, — подтверждает он. Весь первый урок он заставляет ребятишек хором или поодиночке твердить свое имя: Димитрий Ха-ху-та-шви-ли.

А Лавров, так же как и Бутырский, ненавидевший Грузию и грузин! Он ввел в своем классе штрафной билет за разговор на грузинском языке. Кто первый начинал говорить по-грузински, тот получал штрафной билет. Получивший, если не

хотел быть наказанным, передавал билет следующему, заговорившему на своем родном языке. Такую систему первый придумал инспектор Фролов в Царскосельском лицее, где учился Пушкин. Эту жандармскую выдумку перенял Лавров. Лавров получил свое от учеников: они перебили все стекла в его квартире.

Не все преподаватели были такими негодяями, как Бутырский и Лавров, не все были такими чудищами, как Хахуташвили. Смотритель училища Беляев, говорят, был добрым и честным человеком. Его фотография в центре общего снимка выпуска 1894 года. За стеклами очков видны выпуклые близорукие добродушные глаза. Екатерина Григорьевна шила и стирала на него. Она рассказывала, что Беляев сочувствовал ее положению и был рад успехам Сосо.

Хорошо вспоминают бывшие ученики духовного училища и учителя Софрония Мгалоблишвили, грузинского писателя-народника, учителей Датошвили и Садзаглашвили. Но такие учителя долго не удерживались. О них оставался у учеников только теплый след в душе. С теплотой вспоминают о них бывшие ученики и через сорок—пятьдесят лет.

На экзамене

При всех недостатках своих духовное училище было школой и давало знания. Сосо Джугашвили нужны были знания, и он так же настойчиво и упорно, как делал впоследствии все в своей жизни, учился. Учился у нелюбимых учителей, учился со стремлением знать лучше всех и лучше самих учителей, как это показали истории с Бутырским и Илуридзе.

В старой школе были свои изобретатели и выдумщики по части шпаргалок и подсказов. Трудно перечислить все, что делали ученики для того, чтобы обойти и обмануть учителей. В духовном училище, как и везде, школьники не обходились без шпаргалок. Школьник, который не подсказывал, считался плохим товарищем.

Сосо был прекрасным товарищем и доказывал это не раз. Он был честью и гордостью всего класса. Он был первым учеником, но не из тех первых учеников, которые лебезят перед учителями, сторонятся товарищей и больше всего в жизни ценят хорошую отметку. Сосо завоевал первенство не только во мнении учителей, но и во мнении товарищей. Он был первым по праву. И в ученье и в играх он был вожаком своего класса.

Но Сосо никогда не подсказывал, и класс уважал его принципиальность. Известный уже нам Петре Адамашвили был ленив и беспечен во всем, что касалось ученья. Отлежав свое под отцовским ремнем, от тотчас же забывал его наставления. И не было в классе человека, который больше нуждался бы в шпаргалке и подсказах чем Петя Адамашвили.

Наступили экзамены, тяжелые испытания для беспечных людей. На передней парте сидит Сосо. Сзади него Петре. Он знает, что Сосо принципиально не подсказывает, но кто же выручит его из беды, если не Сосо.

Умоляющим шопотом он просит его подсказать в тяжелую минуту.

Сосо не слышит.

Скоро вызовут.

Сосо не слышит.

На Пете прекрасный широкий пояс, который Сосо похвалил накануне. Он сует ему пояс — Сосо не видит пояса.

Петре кладет перед ним свое самое большое сокровище — перочинный нож с янтарной ручкой—Сосо отодвигает его.

Сосо глух ко всему. Наконец, он оборачивается.

— Не могу подсказывать. Подскажу — останешься ничего не знающим, никудышным человеком.

— Да я буду учиться, клянусь матерью, только сегодня выручи.

— Не могу. Сегодня выручу, завтра — привыкнешь. С дурной привычкой пропадешь.

Петре бессилен. Он не может опровергнуть спокойной философии Сосо. Это какой-то железный человек: его ничем не проймешь.

На следующий день Петре видит, как Сосо с жаром об'ясняет какой-то предмет группе слабых ребят. Он сам вызывался помогать отстающим ребятам.

Увидя Петре, Сосо позвал его:

— Поди-ка сюда, Петре, давай-ка подгоним, чтобы тебе еще раз не провалиться.

Петре отвернулся.

— Не хочешь, не надо. Тебе же хуже. А на экзамене все равно не подскажу.

Этот случай рассказал недавно сам «потерпевший» — Петре Адамашвили.

И в этой истории, произошедшей сорок пять лет назад с учеником духовного училища, мы узнаем характер будущего

Сталина, у которого принципиальность всегда была отличительной чертой. Сталин — большевик, Сталин — вождь партии, как и юноша Сосо Джугашвили, никогда не потакал слабостям товарищей. Потакать их слабостям, их недостаткам — значит им же вредить.

Он говорил об этом и совсем недавно, в марте 1937 года, на Пленуме Центрального комитета партии, когда упоминал о воспитании партийных кадров.

— Щадить и сохранять кадры при помощи замазывания их ошибок, — говорил он, — это значит наверняка погубить эти самые кадры.

Решительность, принципиальность, непримиримость — эти черты характера Сталина были присущи ему еще в школьные годы, в духовном училище, в семинарии. И напрасно Петя Адамашвили раскладывал перед ним свои сокровища. Петя просто плохо знал своего школьного товарища. Ничто не заставило бы Сосо Джугашвили отступить от того, что он считал справедливым.

На берегу Куры

Две реки Лиахва и Кура сливаются у самого города, за оградой школьного двора. Быстрая сильная Кура, забрав себе воду Лиахвы, становится еще сильней и полноводней. Лиахва течет с гор Юго-Осетии и несет такую же мутную желтую воду, как и Кура. Выбравшись из ущелья, Лиахва весной разливается по широкому руслу, а летом, пообмелев, разбивается на притоки и ручейки, течет между каменистых отмелей, нанося к устью гальку и серый ил.

Здесь, у слияния двух рек, место купанья горийских ребят. Обмазавшись серой грязью, разрисовавшись как дикари, ребята бегают по отмелям, валяются на горячей гальке, барахтаются в Лиахве; некоторые, посильней да посмелей, лезут в Куру, еще у самого берега их подхватывает течение, теперь только и гляди, как бы сердитая Кура не бросила отчаянных мальчишек на камни да не разбила им голов. Они вылезают далеко внизу, на другом берегу. Бегут по берегу обратно, снова кидаются в воду выше по течению, и вода приносит их опять к устью Лиахвы.

Здесь купались и школьники из духовного училища с Сосо Джугашвили во главе. Этот маленький крепкий мальчик первым кидался в реку, сажонками пересекал ее несколько раз, потом, поборовшись с Курой и победив ее, ложился в кругу ребят на горячую гальку. Из мальчишек никто не плавал лучше его, и единственными его соперниками были школьный товарищ Дормидонт Гогохия и взрослый Миха Микадзе, признанный горийский чемпион.

Здесь, на берегу Куры, затевались бесчисленные игры: играли в кочи, похожие на русские бабки, в чехарду, бегали взапуски, играли в мяч. И во всех этих играх, как и в плаванье, как и в ученье, первым был Сосо Джугашвили. И если ребята для игры делились на партии, то выигрывала та партия, чьим вожаком был тот же небольшой худощавый крепкий и ловкий Сосо.

Мальчик подрастал. В 13—14 лет его уже перестали интересовать единоборства на школьном дворе. Там постоянно дрались друг с другом, группа с группой, класс с классом. Прежде в младших классах, в приготовительном, в первом, в этих драках отличался маленький Сосо. Ему не раз приходилось выходить на бой с великанами из старших классов, и говорят, что он так быстро орудовал кулаками, что не давал вздохнуть противнику и умел постоять за себя.

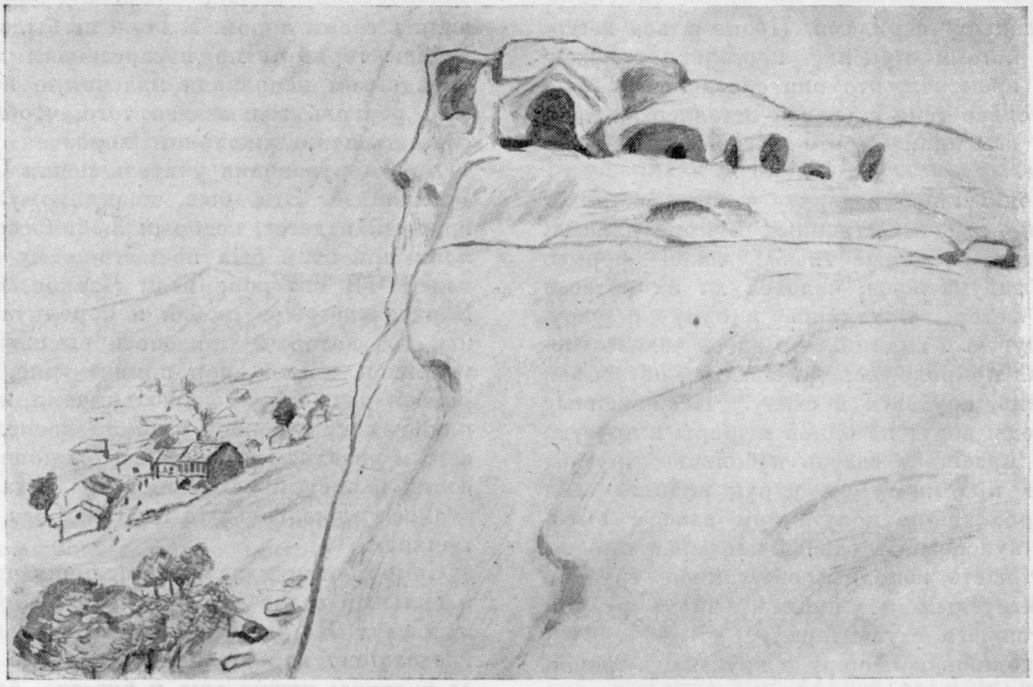
С самодельным оружием за поясом он играл с ребятами в разбойника Арсена. Разбойник Арсен — это грузинский Робин Гуд, защитник угнетенных, смелый и бескорыстный разбойник. Арсеном храбрые лесные братья выбрали Сосо Джугашвили. Эту же роль он выполнял все годы своей школьной жизни.

Товарищи помнят его как постоянного защитника несправедливо обиженных ребят. Особенно не терпел он, когда при нем задирали маленьких или слабейших школьников. Такие любители драк есть во всякой школе. Сосо никогда им не спускал.

Кончалась пора игр, другие мысли и чувства начали занимать его. Он много думал, а говорил мало, был краток, полюбил книги.

Пещерный город

Километров за семь от Гори, по дороге к Тбилиси, находится древний пещерный город Уплис-цихе. Туда собралась как-то экскурсия старших школьников духовно-



Пещерный город. Внизу — селение Уплис-цихе.

го училища, между ними был и Сосо Джугашвили.

Захватив еду, школьники с надзирателем Тиникашвили вышли из Гори. Осторожный Тиникашвили ради безопасности взял с собой револьвер, хотя ни волки, ни разбойники не могли угрожать экскурсии.

Миновали кладбище, пошли по выжженным солнцем холмам, обходя и пересекая глубокие овраги. Экскурсия шла весело, ребята пели песни, вспугивали коршунов из их убежищ на склоне оврагов, кидали камни, стараясь добросить до Куры, бежавшей внизу под холмами. На склоне щипало траву стадо овец. Пастуха не было видно. Петя Адамашвили поймал барана и сел на него верхом. За ним и другие ребята стали пробовать кататься на баранах. Но тут выскочил пастух и ребята разбежались.

Уже перед глазами открылся Уплис-цихе. Естественные зубцы каменистой горы были похожи на очертания крепости или замка, и чем ближе подходили ребята, тем больше становилось это сходство.

Уплис-цихе был уже близко. Перебраться только еще через один овраг — и там. Экскурсанты спустились на дно. Там бежал мутный и довольно широкий ручей. Один из ребят попытался его перепрыгнуть, но не допрыгнул и попал в воду. Школьники стали разуваться. После долгой ходьбы было приятно поболтать ногами в холодной текучей воде и походить по илистому дну ручья.

Надзиратель Тиникашвили топтался на берегу. Он не знал, как ему быть. Прыгать он боялся. Вдруг в воду попадешь. Разуваться надзирателю перед школьниками казалось неудобно.

Сосо, глядя на него, посмеивался. Потом разбежался и перепрыгнул на другой берег.

— Молодец, — похвалил его надзиратель, но прыгнуть все же не решился.

Тогда один из старших учеников, приятель Сосо, руководивший экскурсией, выручил надзирателя. Он стал посреди ручья, нагнулся, и Тиникашвили, ступив ему на спину, перебрался на другой берег.

Школьники засмеялись, а Сосо проворчал:

— Ишак ты, что ли? Я бы самому богу не подставил спину — не то что надзирателю.

Подошли к стене Уплис-цихе—высокая гладкая каменная стена, а наверху, на огромной высоте, то ли окна, то ли бойницы, то ли просто проломы и пробоины в скале. Наверх ведет отлогий под'ем рядом со стеной, огороженный сплошными

каменными перилами. Подниматься легко: под ногами ступени, настолько сглаженные временем, что они еле заметны, будто только тени ступеней остались на гладкой каменной дороге с желобком посредине.

Поднявшись наверх, человек вступает в мир вещей, странных и причудливых. Кругом каменные глыбы такой формы, что задумаешься, человек ли их обтесал или ветер. Заходишь в одну пещеру, в другую и видишь, что здесь человек помогал природе, переделывал ее, обтесывал камень, врубался в скалу. Неожиданные выходы ведут из одной пещеры в другую. Продираешься сквозь небольшое круглое окно в темноту и вдруг видишь себя в прохладном полутемном зале с высоким куполом. И сквозь полумрак проступает часть колонны, обтесанной грубым, но искусным и умелым резцом, резцом настоящего скульптора.

Входишь в пещеру с круглым куполом. Скажешь слово и не узнаешь своего голоса, так торжественно и гулко разносится он вокруг. Несомненно, это часть храма. Но какая это древность! Сколько веков прошло с тех пор, как люди покинули этот сказочный город!

Следы изумительного искусства видны на углах пещер, выступающих из темноты. На куполах остались орнаменты, похожие на византийские.

И во всем этом городе нет ни одного уголка, где этот древний человек нарушил бы замечательную связь камня и воздуха, оставленную здесь природой.

В честь Уплис-цихе Сосо Джугашвили написал стихи.

Безбожники из духовного училища

Грузия — страна прекрасных песен. Тому, кто хоть раз слышал грузинские песни, их не забыть. Мелодия их сливается с природой страны. Слышишь вечером откуда-нибудь, с края деревни, поют мужские голоса, слов не разобрать. Каждый голос ведет свою партию, удивляешься, как только не собьются певцы, никогда не видевшие нот, а река, шум которой сопровождает пение, и ветер, который вдруг пронесется между деревьев, будто помогают пению и придают ему особое очарование.

В Грузии, где умеют ценить хорошее пение, горийское духовное училище славилось своим хором. В Гори не было театра, и горийцы по воскресеньям да по праздникам наполняли маленькую школьную церковь только для того, чтобы послушать пение школьного хора.

Хором руководил учитель пения Симон Гогличидзе. Это был, повидимому, прекрасный педагог, который любил свое дело и при этом был по-настоящему музыкален. В его хоре пели Чайковского и Бортнянского, он любил и народную песню. Те, которым привелось слышать его учеников, до сих пор помнят трио, которое он разучивал со школьниками, и помнят, как при полной тишине звенел под самым потолком оставшийся одиноким высокий и чистый мальчишеский дискант — это вел свою сольную партию Сосо Джугашвили.

Симон Гогличидзе сразу отличил чистый и сильный голос мальчика и его абсолютный слух. Но для того, чтобы хорошо, по-настоящему хорошо петь, мало еще голоса и слуха: нужно еще и чувство, без которого лучший певец — только поющий автомат. У мальчика была богатая и впечатлительная натура, от этого в его пении было и чувство, которое так захватывало его слушателей. Симон Гогличидзе пророчил ему будущность певца. Между прочим, один из его учеников в этом искусстве стал впоследствии известен всему Советскому союзу — это руководитель недавно приезжавшего в Москву хора восточной Грузии, орденоносец Сандро Кавсадзе. Они были одновременно с Сосо Джугашвили в хоре духовного училища.

Как это ни странно, но училище, которое славилось своими духовными песнопениями, училище, в котором воспитывались в божественном духе поповские дети, подготовило к вступлению в семинарию безбожников, атеистов, каким был впоследствии известный большевик Ладо Кецховели, каким стал к 14 годам и Сосо Джугашвили.

Ладо Кецховели был старше Сосо тремя или четырьмя классами. Он был сыном сельского священника, у которого было шестеро детей. Старшие братья Ладо разбрелись из отцовского дома кто куда в поисках лучшей жизни. Ладо семи лет был отдан в духовное училище.

На каникулы он приезжал домой. Там, в деревне, бедность его отца была богатством по сравнению с голодной и бесправной жизнью крестьян. Их грабили все, кто сидел на их шее: помещики,

дворяне, уездные власти, полицейские. Подраставший Ладо ссорился с отцом. Ведь крестьянам приходилось и священника кормить. Ладо осуждал отца за то, что он брал с крестьян деньги за похороны и свадьбы. Потом он пошел еще дальше и стал убеждать крестьян совсем не платить церковные подати.

В училище он много читал, читал книги, не разрешенные училищным начальством. Товарищи знали, что он безбожник, и с опаской прислушивались к его словам, которые сначала казались им ужасными и кощунственными.

Но Ладо умел пересыпать шутками и веселыми историями серьезные доводы против существования господа бога.

После его историй ребята не так уж боялись вызвать господний гнев, удирая с бесконечно скучных и нудных богослужений, а если не удавалось удирать, то в запасе были колючки, нарванные у гориджварской горы. Колючкой кололи себя в нос, показывалась кровь — тогда можно было отпрашиваться с обедни или всенощной.

Бог ни разу не наказал за такое кощунство, но проклятый инспектор Бутырский в конце концов все же догадался, почему богослужения так часто вызывают из носу кровь, и уж ни за что не выпускал из церкви.

Иногда ученики духовного училища пускались на такие проделки с богом и святыми, которые могли окончиться уже не в карцере, а прямо в полицейском участке.

Коля Кавкасидзе и святой Георгий

Пошли как-то школьники гулять в Горис-джвари. На вершине горы стояла церковь, почитаемая богомольцами, а на полдороге от Гори, на столбе, висела икона святого Георгия в нише с церковной кружкой, куда молящиеся опускали деньги на церковь.

Среди ребят был Коля Кавкасидзе, иначе Рыжий, прозванный так за рыжие волосы. Это был отчаянный сорванец, один из лучших в школе кулачных бойцов, горячий и азартный парень.

Ребята присели отдохнуть возле иконы, и вдруг Коле Кавкасидзе пришла в голову забавная мысль.

— Ребята, — сказал он, — что-то захотелось мне поиграть со святым Георгием в кочи, по пятачку. Я проиграю — кладу в кружку пятак, он проиграет — беру из кружки.

Ребята рассмеялись. Рыжий вытащил кочи.

Кочи — это коленная косточка барана. Каждая ее сторона называется по-своему. Ее зажимают между большим и указательным пальцами и кидают, стараясь, чтобы она упала выигрышной стороной кверху.

Коля Кавкасидзе кинул кочи и проиграл. Он достал пятак и бросил в кружку. Метнул второй раз и опять проиграл. Опустив второй пятак в кружку, он предложил святому Георгию новые условия:

— Вот что, святой Георгий. Кидаю в последний раз. Играем на все деньги. Выиграешь — все высыплю в кружку. Проиграешь — заберу все твое казначейство.

Рыжий кинул кочи и выиграл.

Тогда он на глазах у всех ребят снял кружку и взломал крышку. Ребята испугались за Рыжего, да и за себя. Кто знает, как отнесется к этому святой Георгий, а вдруг ему придет все-таки в голову поразить всех громом и испепелить на месте?

Но Рыжий опрокинул кружку и спокойно высыпал все деньги. Земля не расступилась под его ногами и не поглотила его. Ребята вздохнули и уже совсем спокойно пили лимонад, купленный Рыжим для всех на деньги святого Георгия.

Такие случаи были нередки среди школьников духовного училища.

Но Сосо и Ладо по-иному рассчитывались с религией.

Для того чтобы решить вопрос о существовании бога, Сосо незачем было испытывать терпение святого Георгия. Для Сосо бога не существовало, а, следовательно, все церковные процедуры были для него комедией, рассчитанной на одурманивание народа.

Ответа на вопросы, возникавшие перед ним, он искал в жизни и в книгах.

Товарищи готовятся к жизни

Сосо и Ладо сдружились здесь, в духовном училище, несмотря на разницу в годах. Фотография юноши Ладо рядом с портретами Пети Капанадзе и Миши Давиташвили висит теперь в комнате Сталина, в бывшем духовном училище.

Это близкие друзья Сосо — с ними он говорит о своем будущем, с ними обсуждает прочитанные книги. Это его друзья

того периода, когда кончалось детство и начиналась юность.

Сосо Джугашвили, как и Ладо Кецховели, не мог ограничиться чтением разрешенных книг из училищной библиотеки. Да и к тому же все мало-мальски годные для чтения книги были уже прочитаны. Ребята в то время зачитывались книгами Ильи Чавчавадзе, Ал. Казбека и других грузинских писателей.

Одну из партийных кличек Сталин впоследствии выбрал себе «Коба» — это имя одного из героев Казбека.

Любимой книгой горийских школьников была поэма Ильи Чавчавадзе «Разбойник Како». Ребята непосредственно выражали свои чувства: чуть не плакали, когда помещик избивал старика, отца Како, и шумно восторгались, когда Како убивал помещика.

Но этих книг мало было Сосо, и он стал добывать книги в книжном магазине Арсена Каландадзе. Библиотек, кроме школьной, в то время в Гори не было. Был клуб, где собирались и развлекались, как могли, князьки, дворяне и прочая местная знать. Настоящим же культурным центром была маленькая лавчонка Арсена Каландадзе. Здесь встречались все мыслящие, деятельные люди, которых судьба забрасывала в Гори. Здесь встречались Софроний Мгалоблишвили, писатель-народник; Тедо Разикашвили, поэт; здесь был гостем и Симон Гогличидзе, учитель духовного училища; и школьники, а потом семинаристы Ладо Кецховели и Сосо Джугашвили.

Арсен Каландадзе и сам был народником. Человек огромной энергии, он выбрал книжное дело не спроста: у него брали не только Пушкина и Тургенева, но и книги безыменных авторов, читать которые уж во всяком случае запрещалось училищным начальством; вместе с картинами религиозного содержания, которые раскупали уездные попы, были у него и запрещенные в России книги, переведенные на грузинский язык.

У него брал книги и жадно глотал их Сосо Джугашвили.

Сосо с волнением прислушивался ко всем новостям, шедшим из семинарии. Он был уже в четвертом классе, когда до Гори докатились вести о бунте в семинарии.

На зимние каникулы в Гори приехал Котэ Чарквиани, и от него бледный от возбуждения Сосо узнал все, что там случилось. Конечно, это — дело Ладо Кецховели.

Тифлисская семинария была настоящим застенком для попавшей туда молодежи. Монахи — жандармы в рясах, черные ищейки — стояли во главе этого учебного заведения. Шпионы-воспитатели следили за каждым шагом учащихся, за каждой мыслью, за каждым вздохом. Они ломали и калечили молодые организмы попавших туда юношей, стараясь воспитать их такими же негодяями, какими были сами. Монах-инспектор Абашидзе, сам грузин, преследовал семинаристов за то, что они пытались изучать грузинскую литературу, литературу на «собачьем языке», как обзывали язык Шота Руставели черносотенцы-педагоги.

Конечно, это Ладо Кецховели поднял бунт в семинарии. Он созвал на окраине Тифлиса первое собрание семинаристов, которое решило об'явить забастовку в знак протеста против жандармских порядков в семинарии. Учащиеся требовали прекратить шпионство и слежку, выгнать из семинарии самых черносотенных учителей и начать преподавание грузинского языка, который царские чиновники хотели вырвать у грузинского народа.

Четыре дня бастовали семинаристы, а на пятый, видя, что забастовку не прекратишь, начальство закрыло семинарию на месяц.

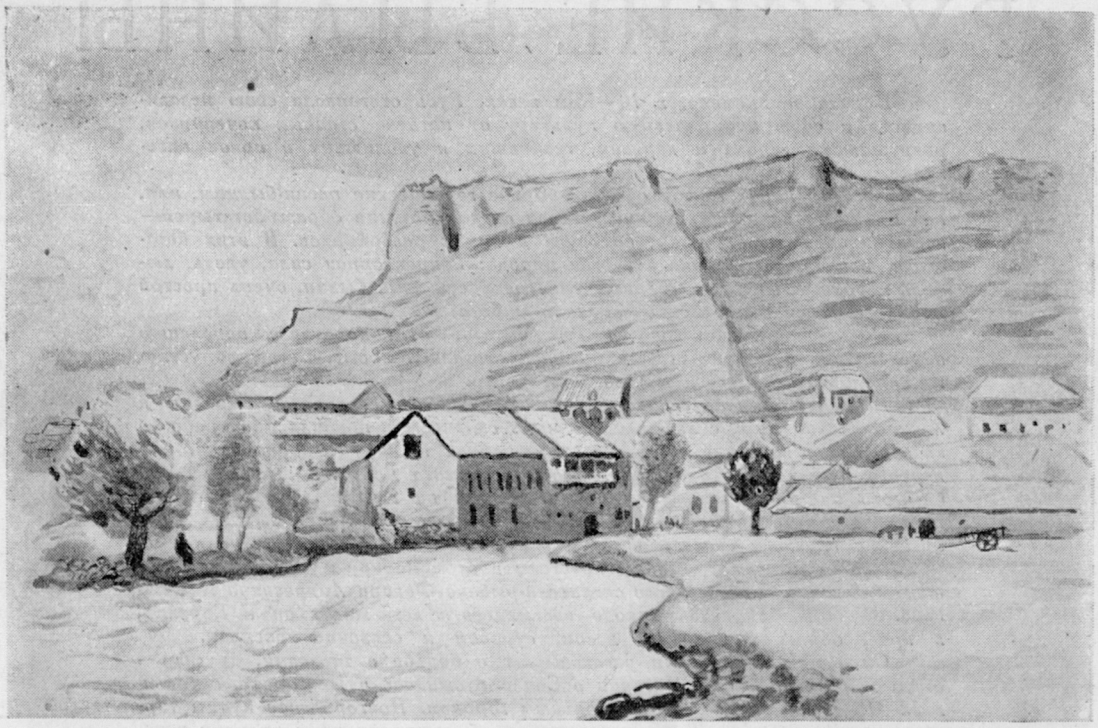
Ладо Кецховели исключили из семинарии и выслали из Тифлиса.

Обо всех этих подробностях Сосо узнал от Котэ Чарквиани. Он не мог сдержать своего возмущения, и старая бабушка Котэ вытаращила от удивления и неожиданности глаза, услышав, как обзывает негодяев в рясах взволнованный и возбужденный Сосо.

Проходит год, и, блестяще закончив духовное училище, Сосо Джугашвили уезжает в семинарию в Тифлис.

Теперь Сосо в Гори — гость. Оттуда, из Тифлиса, дорога его идет дальше, и в маленьком Гори он появляется наездами к матери, которая его ждет не дождется на каникулы.

Тогда собираются старые товарищи по училищу, приехавшие из Тифлиса, оставшиеся в Гори уходят в Эриставский сад (его уже нет теперь: Кура его снесла), подымаются на древнюю крепость.



Старые кварталы северной части города.

На старой крепости

Снова встречаются приятели, детьми певшие в школьном хоре. Уже сломались и изменились у всех голоса. Сосо запевает старую народную песню о серпе «Чеми намгано»:

«Отточу-наточу тебя, серп,
Серп ты мой железный!..»

Голос его, окрепший и мужественный, попрежнему подымается над всеми голосами в хоре. У каждого голоса своя мелодия. У каждого юноши свой путь.

Детство Сосо Джугашвили кончилось. Молодой Сталин начинал свою жизнь.

Старая крепость—поросла полынью. Запах ее, горький и сухой, подымается от нагретой солнцем каменистой почвы на вершине крепости. По преданию, ее построила еще царица Тамара лет восемьсот назад. Но действительность древнее предания. Крепость стоит дольше. Десятки раз ее брали приступом, разрушали, восстанавливали и вновь осаждали. На ней стояли гарнизоны монголов и персов. Есть указания о том, что персидский гарнизон на ней состоял из ста человек. Теперь старую крепость охраняет один человек, старый человек, обросший седой щетиной. Изредка он оглядывает горизонт, не приближается ли неприятель. Но охраняет он, собственно, даже не крепость, а зеленые насаждения вокруг крепости, посаженные горсоветом. От кого охраняет он их, неизвестно, должно быть, от коз и ребятишек.

С крепости виден Кавказский хребет—высокие синие горы и снежные вершины. Внизу, под крепостью, городок. Он весь перед глазами, как на плане. Видна каждая улица, каждый дом. В одном месте группы красных с серым налетом черепичных крыш чередуются со сплошными зелеными островами садов, зелень бежит по городу зеленой цепочкой, то вдруг захватывает целый квартал. Город разрезает прямой, будто проведенный по линейке асфальтовый проспект, но живая зелень забегает и на серый асфальт, она бежит до самой воды, с трех сторон окружившей город. Мутножелтая вода, красная черепица крыш, коричневая каменистая почва, зелень садов, древняя крепость, стены которой уступами спускаются вниз, — так Гори выглядит сегодня.

С волнением смотришь на этот теплый, живой уголок земли.

РУССКИЕ БЫЛИНЫ

В далекие времена, в 10—13-м веках, Русь отстаивала свою независимость и свою национальную культуру от натиска степных кочевников, разрушавших города и деревни, грабивших и уводивших в полон население.

Русский народ слагал об этой борьбе героические песни-былины, или, как их иначе называют, старины. Народ создал могучие образы богатырей — защитников Руси от татар, половцев и лихих разбойников. В этих богатырях воплощены лучшие качества народа: непреклонная сила, удаль, любовь к родине, живой, сметливый ум. Прекрасен язык былин, очень простой и вместе с тем полновесный, крепкий и богатый.

В течение долгих веков из уст в уста, от поколения к поколению передавались в народе старые былины, слагались новые. Богатство устного народного творчества все росло и росло.

Былины живы и сейчас. И сейчас еще на севере, в Карелии и Архангельском крае, с любовью слушают сказителей, поющих про храброго казака Илью Муромца, про богатыря-пахаря Микулу Селяниновича, про ловкого Алешу Поповича, про хитрого дипломата Добрыню Никитича, про богатого новгородского купца Садко. Часто на глухих лесных участках партия лесорубов отдыхает в долгие зимние вечера, слушая былины. Внимательно слушают сказителей артели рыбаков, сплавщики леса, охотники.

Две былины, которые мы печатаем в этом номере журнала, записаны совсем недавно от известного сказителя-рыбака Федора Андреевича Конышкова. Федору Андреевичу около восьмидесяти лет, живет он в Карелии, в крае, обильном водой и лесом, суровом и сказочно красивом.

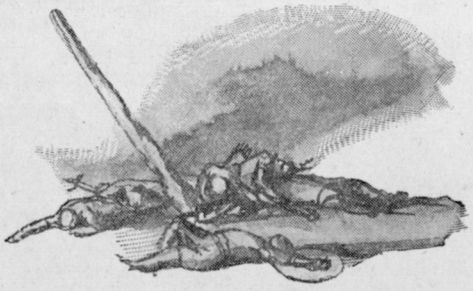
Одна из таких былин рассказывает о борьбе с татарами, другая — о богатом купце Садко. История о Садко сложилась в Новгороде, который в 12—13-м веках был богатым вольным городом. Новгородские купцы торговали с Востоком и Западом, совершали большие по тому времени путешествия. Не даром в былине Садко попадает даже на дно морское.

Садко

На небе звезда, и у Садка, купца богатого,
В тереме звезда.
На небе солнце, и у Садка, купца богатого,
В тереме солнце.
Говорил Садко, купец богатый:
«Дружина моя, да вы приказчики,
Берите денег вы понадобью,
Откупите товары новгородские, вгрузите товары на кораблики»
Дружина его, приказчики, взяли денег понадобью,
Откупили товары новгородские,
Сгрузили на кораблики,
И на другой день говорил Садко, купец богатый,
Говорил: «Вы, дружинушка моя, приказчики,
Вы берите денег понадобью,
Откупите товары новгородские,
Сгрузите товары на кораблики».
И на третий день говорил Садко, купец богатый:
«Вы, дружина моя, да вы приказчики,
Вы берите денег понадобью
Да скупите товары новгородские.»
У Садка, купца богатого, денежек не убыло,
А у купцов новгородских товару не стало,
И поехал Садко, купец богатый,
В свою Индию во богатую.
Середи моря захватил царь морской, страх людской, —
На одном месте кораблики вертятся,
Да с места не двигаются.

Садко у морского царя.

Говорил Садко, купец богатый:
«Сколько по морю езживал,
А царю морскому дани не плачивал:
Так царь морской, страх людской, просит дань,
Так бросим-те бочку с златом-серебром»,—
Спустили бочку с златом-серебром,
Бочка не тонет, а плавает гоголем.
Говорил Садко, купец богатый:
«Видно, просит головушку да человечию».
Матроса одели в платьице и спустили матроса на воду,
Матрос плавает да гоголем.
«Видно, царю морскому матрос ненадобен, —
Говорил Садко, купец богатый, —
Самого, видно, Садка, купца богатого,
Царь морской требует.
Спустите-ка золотую лестницу».
И взял Садко, купец богатый, гуселышки яровчаты,
И спустили с кораблика лестницу,
И спустился Садко, купец богатый,
К царю морскому-то, страху людскому.
Говорил царь морской и страх людской:
«Что, Садко, купец богатый,
Для того я задержал тебя,
Что есть у нас ссора с царицей морскою великая.
Я говорю: на Расеи злато-серебро ценится дороже всего,
А царица морская говорит:
«Булат-железо дороже ведь».
Да говорил Садко, купец богатый:
«Как злато-серебро дорого-то дорого,
А крестьянин не видит злата-серебра целый годичок,
А без булата-железа не может быть и денничок».
Да говорила царица морская:
«Правда моя верховая:
Играй в гуселышки, Садко, купец богатый,
Будем танцовать».
Садко, купец богатый, играл
12 дней и 12 ночей, 12 круглых суток —
И моря все взволновалися да всклубилися,
Да людушки напогибалися.
Явился чудотворец Николай:
«Перестань, Садко, купец богатый, играть в гуселышки яровчаты».
Да говорит Садко, купец богатый:
«Как же перестать, как заставляют».
«Выдергивай с гуселышек по струночке».
Говорит царь морской да страх людской: «Играй».
«Да не во что играть — отпусти с'ехать в Киев-град за струнами».
Говорит царь морской, страх людской:
«Так можешь с'ездить».
И приснился Садке, купцу богатому,—
Заснул в крепкий сон —
Об'явился в Киеве, на берегу у Софии премудрой,
И корабли пришли благополучно с моря.
Тем и былина и покончилась —
Слышана от старых, матерых стариков.



Сохман сын Рахмантьевич

Как во стольном во граде во Киеве,
У князя у Владимира, собраны были сильные, могучие богатыри.
Как наливал-то он чару зелена вина,
Да говорил-то он, князь, таковы слова:
«Уж вы сильные, могучие богатыри,
Кто бы из вас выпил чару зелена вина.
Кто бы из вас с'ездил на тихие на заводи
Да привез бы мне для пиру гуся-лебедя да серу малу утушку».
Как сильные, могучие богатыри
Все позаутихнули, все да позадумались.
Старший тулится на среднего,
Средний тулится на меньшего,
А от меньшего и ответа нет.
Как Сохман да сын Рахмантьевич
Встал на резвы ноги середи стола да противо князя.
Говорил Сохман да таковы слова:
«С'езжу на тихие на заводи,
Привезу на пир гуся-лебедь-то да серу малу утушку».
Да как с'ехал Сохман на тихие на заводи.
Там не плавало ни гуся, ни лебедя, ни серой малой утушки.
Поехал-то Сохман ко матушке Непре-реке.
Как течет Непра да не по-старому,
Да течет Непра не попрежнему.
Как вода с песком на ней да смутилася,
Как говорил Сохман да сын Рахмантьевич:
«Что ты, матушка Непра, течешь не по-старому,
Течешь не попрежнему, вода с песком да смутилася».
Да отвечала Непра по-человечьему:
«Сохман да сын Рахмантьевич-то,
Я теку не по-старому-то, я теку не попрежнему,
Как за мной, за матушкой Непрой-рекой,
Стоит татарин со татарами, насчитает силы четыреста тысяч.
Как идет-то он ко городу ко Киеву,
Пробирается ко князю ко Владимиру.
День мостят мосточки-то кленовые,
Ночью я мосточки повырою,
Да из силушки я повыбилась.
А Сохман да сын Рахмантьевич,
Едь-ка ты ко мне, ко матушке Непре-реке,
Стоит на бережке дубинушка-вязиночка,

Битва Сохмана сына Рахмантьевича с татарами.

Ты этой дубинкой силушку повыщелкай».
Ехал Сохман да сын Рахмантьевич.
Стоит кудрявый дуб,
За вершину брал — так с корня сок бежал.
Сорвал деревцо со корешком.
А начал-то он силу бить,
А татары-то неверные пускали Сохману стрелочки каленые,
А он стрелочки выдергивал,
А маковым листом раны затыкивал.
Да приехал Сохман сын Рахмантьевич
Без гуся без лебедя, без серой малой утушки.
Да говорил-то да Владимир князь:
«Сохман да сын Рахмантьевич,
Что же приехал без гуся, без лебедя, без серой малой утушки?»
Говорил Сохман да сын Рахмантьевич:
«Приехал я на тихие на заводи,
Там не плавало ни гуся, ни лебедя, ни серой малой утушки.
С'ехал я ко матушке Непре-реке,
Там стоит татарин со татарами.
Насчитает-то силы четыреста тысячей,
Пробирается ко городу ко Киеву, ко князю ко Владимиру.
Я эту силушку да я повыщелкал,
Сорвал деревцо да я со корешком,
Так эту силушку я повыщелкал».
Эти речи князю не слюбилися:
«Что пустым ты Сохман хвастаешь?»
Приказал Владимир князь посадить его в темницу да во темную.
Да послал-то он Добрынюшку
Поглядеть Сохманово бахвальство.
Да приезжал-то ведь Добрыня ко матушке Непре-реке,
Увидел-то Добрыня, как рабьсила вся побитая,
Да увидал деревцо окровавлено,
Которым сила бита ведь,
Хотел Добрыня деревцо да на показ привезть,
Да не мог деревцо и от земли поднять.
Да приезжал Добрыня ко князю ко Владимиру,
Да спросил великий князь:
«Поглядел бахвальство Сохманово?»
«Да! — отвечал-то Добрынюшка, —
Я видел Сохманову поездочку,
Которым деревцом сила бита.
Хотел деревцо на показ привезть,
Да не мог деревцо и от земли поднять».
Да говорил-то Владимир князь:
Приказал Сохмана из темницы повывести,
Да говорил-то Владимир князь:
«За такую-то заслугу-то чем я молодца буду пожаловать,
Чем тя, молодца, почествовать?»
Да говорил Сохман сын Рахмантьевич:
«По приезде молодцов нас жалуют,
А по заслугам молодцов да почествуют.
А ты меня, Владимир, по приезде не пожаловал,
По заслугам не почествовал».
Да оттыкал он свои раны богатырские.
Тут Сохману и славу поют.
Тем былина и покончилась.

Необыкновенный побег

В. Шустов

I

18 октября, в 5 часов дня, проходивший мимо Зоопарка лимузин был остановлен посредине улицы необычайным пешеходом. Уродливый человек на коротеньких кривых ножках медленно ковылял по мостовой, опираясь на длинные до земли руки. Шофер еще издали заметил эту странную фигуру. Дойдя до середины улицы, пешеход остановился. Шофер дал резкий сигнал. Темная, сутулая фигура от испуга неожиданно ловко подпрыгнула и, перевернувшись в воздухе, стала лицом к машине. Перед шофером стояла большая обезьяна. Она часто моргала глазами, гримасничала и что-то злобно бормотала на своем обезьяньем, непонятном языке.

Придя в себя от изумления, шофер снова дал сигнал, надеясь этим заставить обезьяну сойти с дороги. Она еще сильней заморгала глазами и, угрожающе стуча кулаками по мостовой, смело заковыляла к кабинке. Улица быстро заполнялась толпой любопытных. Трамвайное движение остановилось. Из Зоопарка к обезьяне с громадными сачками в руках бежали сотрудники.

II

В начале октября в Зоопарк из Лондона вместе с другими животными прибыли две большие обезьяны шимпанзе Бетти и Белла. Возможно, на человекообразных обезьян сильно повлиял длинный и утомительный путь, но только обе обезьяны производили впечатление совсем диких животных. В особенности злым характером отличалась младшая обезьяна, Бетти, которая не раз бросалась на своего служителя, пытаясь его укусить или схватить сквозь решотку клетки своими длинными и цепкими руками.

18 октября погода сильно изменилась, стало холодно. Служители Зоопарка Семенов и Кузнецов переводили шимпанзе в зимнее помещение. Проходя мимо запертой дверки клетки, Бетти немного задержалась и вдруг, открыв дверку, выскочила на свободу. Через мгновенье Бетти и Белла уже качались на макушках деревьев, растущих вокруг обезьянника. Как выяснилось позднее, Семенов, заперев дверку на замок, позабыл вынуть из него ключ, — этим и воспользовалась Бетти.

Весть о побеге человекообразных обезьян быстро облетела территорию Зоопарка. Большинство сотрудников, вооружившись громадными сачками, которыми обычно ловят лисиц, барсов и других животных, спешило к месту побега. Принесли еще длинную сеть, рассчитывая ею окружить обезьян и не дать им выбраться за территорию Зоопарка.

Под деревьями, на которых сидели шимпанзе, собралась громадная толпа посетителей. Каждый пытался принять участие в ловле обезьян, все давали различные советы, пугали их криком. Но все это не помогало и только создавало ненужную суету. Пришлось вызвать наряд милиции и ближайшую пожарную часть. Между тем, налазавшись по деревьям, обезьяны сами начали спускаться вниз. Зная, что шимпанзе отличаются злым характером, и не надеясь их заманить в помещение лаской, решили взять обезьян силой.

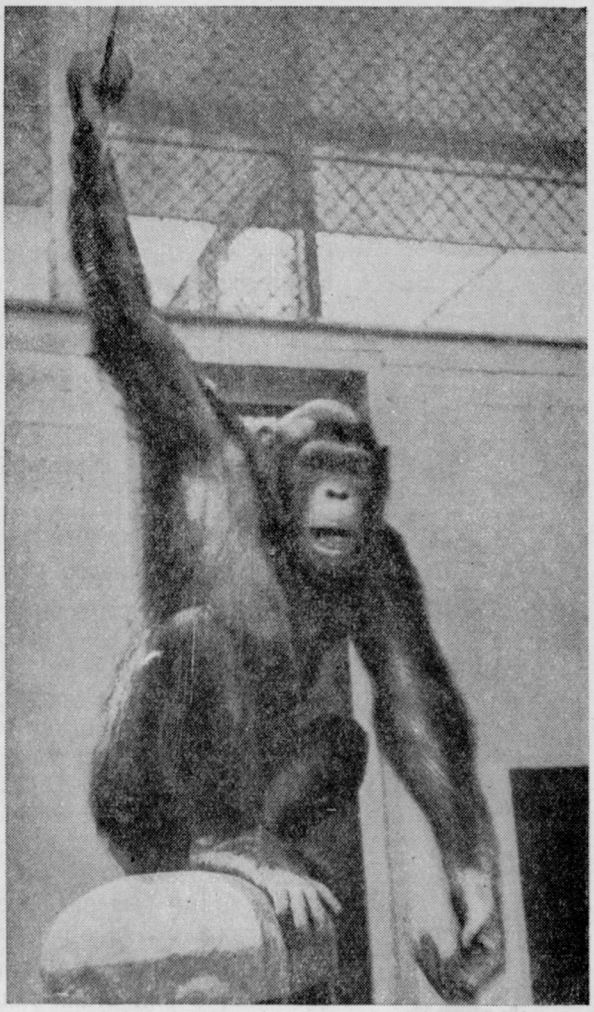
Лишь только Бетти и Белла спустились на землю, группа людей во главе с сотрудниками Зоопарка Гринбергом, Карпухиным и Ульяновым бросилась на обезьян. Обезьяны с невероятной силой и ловкостью в одну минуту раскидали нападавших в разные стороны. Оправившись от такого неожиданного поражения, люди вновь бросились на обезьян, но и эту вторую атаку те блестяще отбили, причем шимпанзе с такой силой и быстротой вырывали направленные на них с разных сторон сачки, что люди не могли удержаться на ногах.

После этого обезьяны бросились бежать. Пробегая мимо тов. Миронова, стоявшего с сачком, Бетти сшибла его с ног, а Белла, схватив большой камень, метко запустила его прямо ему в лоб. Обезьяны прорвали цепь милиции и разбежались в разные стороны: Бетти перескочила через высокий забор и очутилась на Красной Пресне, а Белла залезла на крышу ларька Пищетреста и с него спустилась во двор соседней школы. Увидев пожарную лестницу, Белла стала быстро взбираться по ней на крышу шестиэтажного здания.

Преследователям пришлось разделиться на две группы.

III

Бетти застали на Красной Пресне посредине улицы. Она стояла около брошенного шофером лимузина, окруженная большой толпой, и никого к себе не подпускала. С громадным трудом удалось накинуть на нее сачок и посадить в привезенную из Зоопарка клетку. Бетти отчаянно защищалась, раскидывала людей своими длинными могучими руками и сильно кусалась.



Белла.

С Беллой справиться было труднее. Она была на два года старше своей подруги, выше ростом и много ее сильнее. Преследователи, понимая, как трудно бороться на крыше с такой ловкой и сильной обезьяной, пытались не пустить ее наверх: пожарные направили на лестницу, выше обезьяны, сильную струю воды. Расчет был построен на том, что большинство диких животных не любит мокнуть: преграждая дорогу водой, хотели этим заставить Беллу спуститься вниз. Но обезьяна, не обращая внимания на бившую впереди нее струю и летевшие кругом брызги, вся мокрая, упорно продолжала подниматься все выше и выше по лестнице, как можно дальше от надоевших ей преследователей. Гринберг, Ульянов, Карпухин и несколько пожарных гуськом по узкой лестнице полезли за обезьяной наверх. С тяжелыми сачками и сетью в руках они с трудом забрались на крышу и там увидели Беллу. Она спокойно стояла около телефонных проводов и внимательно их рассматривала.

День уже клонился к вечеру, и обезьяну нужно было поймать до наступления темноты.

Решили снова попытаться взять ее силой. Семь человек, зайдя с разных сторон, сразу бросились на Беллу. Но она быстро и ловко раскидала всех своих врагов. Некоторые нападавшие были отброшены с такой силой, что с трудом задержались у самого края крыши. Обезьяна же, отбив нападение, кинулась к жолобу и, ухватившись за него одной рукой, прыгнула вниз. От страха все оцепенели. Белла, раскачиваясь на одной руке, висела над пропастью. Еще мгновение, и она, сорвавшись, должна была бы разбиться. Но вот снизу показалась сначала рука, затем голова обезьяны, и Белла, ловко подтянувшись, очутилась опять на крыше. Все облегченно вздохнули. Повторять атаку было неразумно... Людям грозила опасность быть сброшенными с шестиэтажной высоты, а сама Белла могла разбиться, прыгнув вниз на мостовую.

Люди не знали, что им делать.

В это время Гриша Ульянов посмотрел на Беллу. Она стояла вся мокрая, готовая снова храбро защищаться. Грише стало жалко Беллу. Он сделал страшное лицо и, стуча кулаками по крыше, громко закричал на своих товарищей:

«Что вы обижаете мою хорошую Беллу, вот я вам за это задам».

И тут произошло чудо.

Обезьяна, услышав этот крик, подошла к Ульянову, доверчиво села с ним рядом и, ворча и надувая от волнения шею, тоже стала стучать на своих врагов кулаками. Не было никакого сомнения в том, что обезьяна поняла Ульянова и увидела в нем своего друга. Путь к дружбе с Беллой был найден. Она сидела теперь, обнявшись с Ульяновым, к ней подошел Гринберг и накинул на нее свою куртку. Это окончательно подкупило Беллу: она была вся мокрая и дрожала от холода. Через несколько минут Белла уже важно разгуливала по крыше под руку с Гришей Ульяновым и Гринбергом. Когда же ее подвели к лестнице и Ульянов стал спускаться вниз, то Белла послушно последовала за ним. Между обезьяной и недавними врагами был заключен мир. Спускаясь по лестнице мимо окон верхнего этажа, Ульянов решил заманить Беллу через окно внутрь дома.

Ульянов шагнул с лестницы и уселся на подоконник, рядом с ним села обезьяна, и они стали глядеть в окошко. С другой стороны окна на них с удивлением смотрели ребята. Позабыв о занятиях, они гурьбой устремились к окну, и учитель напрасно пытался водворить в классе порядок. Ульянов попросил учителя отпустить учеников, а ему с Беллой открыть окно. Немного погодя Белла и Ульянов, а за ними и остальные сотрудники Зоопарка влезли в класс.

Теперь обезьяна убежать никуда не могла. Все окна заставили партами и послали в Зоопарк за клеткой.

Попав в комнату, Белла тщательно обшарила все парты. Она нашла там несколько пеналов, ловко их открыла, вынула карандаши и ручки. Осмотрев все в классе, Белла стала заигрывать со своими новыми приятелями. Подойдя к Карпухину, она расшнуровала и сняла с него ботинки, а когда Гринберг закурил, то Белла взяла у него папиросу и, ловко держа ее в руке, стала тоже курить, сильно затягиваясь и закрывая от удовольствия глаза... Сидя с ней рядом, Гринберг решил воспользоваться случаем: измерил ей грудную клетку и осмотрел мускулы рук. Белла тоже стала трогать грудь и руки Гринберга. Неизвестно, осталась ли обезьяна довольна своим осмотром мускулов человека, но Гринберг был поражен бочковатым строением грудной клетки шимпанзе. Оказалось, что у сравнительно небольшой обезьяны грудь по об'ему вдвое больше чем грудь взрослого человека. Рука же ее была толстая и круглая, с длинными и необычайно упругими мышцами. Потом Белла внимательно обшарила у Гринберга все карманы и осталась недовольна, что ничего в них не нашла. Между тем все стали думать, как заманить Беллу в клетку.

В классе стоял большой шкаф с коллекциями минералов и различными учебными принадлежностями. Попросив через дверь у учителя разрешения освободить шкаф, начали все из него вынимать.

Белла тоже усердно помогала и осторожно ставила вещи на указанное место. Когда шкаф освободили, Ульянов залез внутрь. Он думал, что Белла полезет за ним, но хитрая обезьяна, подозревая обман, не хотела идти в шкаф.

В шкаф перелазили все поочередно, но Белла, как бы смеясь над таким наивным обманом, отошла к доске и стала что-то чертить на ней мелом. Тогда Карпухин тихо подкрался к ней сзади и быстро накинул на нее сачок. В одно мгновенье сачок полетел в сторону, и, раз'яренная такой изменой обезьяна, оскалив зубы, кинулась на Карпухина.

Прыгая по партам, он бросился бежать, но Белла в два прыжка была около него и схватила его своими страшными зубами за ногу. И тут на помощь опять пришел Гриша Ульянов. Он с ужасом закричал: «Белла, что ты делаешь?»

Обезьяна, услышав голос своего друга, сейчас же разжала зубы, и Карпухин отделался только сильным испугом.

Наконец, из Зоопарка привезли клетку, и Белла, увидев в ней свое одеяло, доверчиво зашла внутрь. Дверку быстро закрыли, и после пятичасового пребывания на свободе Белла опять очутилась в плену. На часах, висевших в классе, было уже 8 часов вечера.

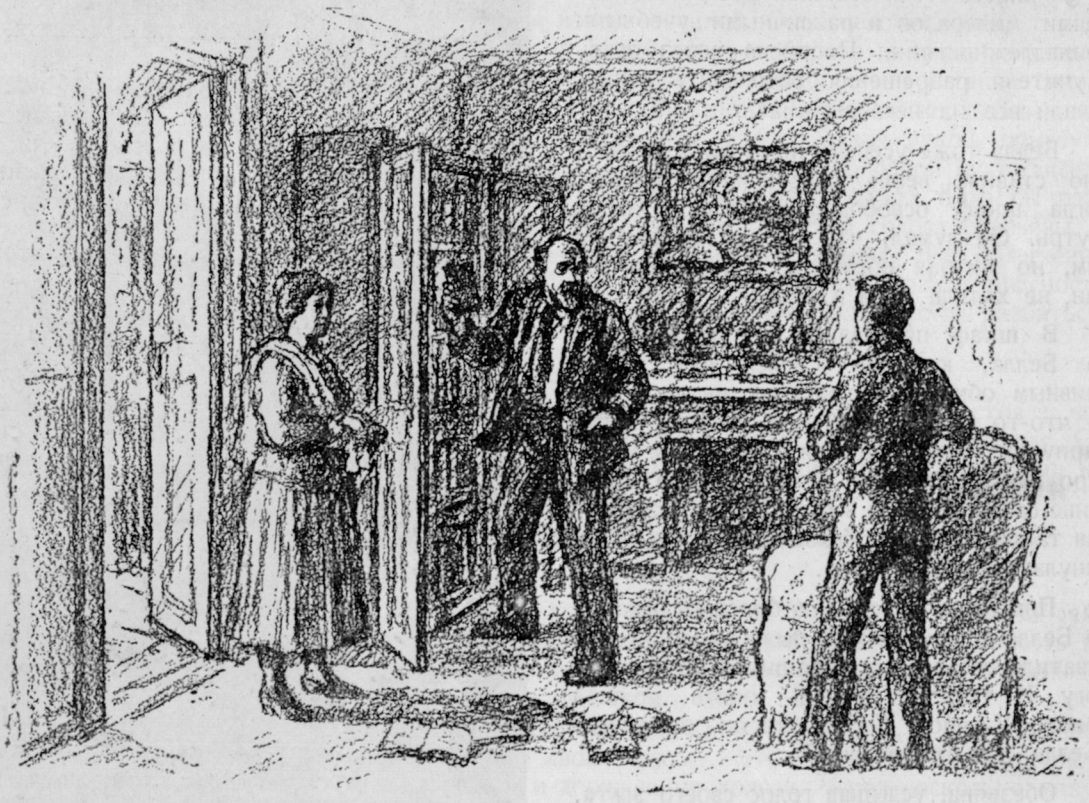
Бетти.

Таким образом выяснилось, что обычный способ ловли сачком к человекообразным обезьянам неприменим.

Накрытый сачком барс совершенно теряется и перестает сопротивляться, а шимпанзе своими сильными руками хватает железный обруч сачка и сбрасывает его с себя.

И почем знать, если бы шофер на Красной Пресне попытался бы сразу ловлиять на Бетти лаской, может быть, ему удалось бы ее привезти в Зоопарк на своей машине.

□ □ □



В лагере

Б. Шатилов *Рис. Б. Винокурова*

Глава первая

— Я твоего Симку выгоню! Ты посмотри!.. Ты посмотри, что он тут натворил!— кричал отец.

Он стоял перед раскрытым шкафом с книгами с таким видом, как будто случилось что-то ужасное и непоправимое.

Я посмотрел и все понял. Книги обычно стояли на полках по росту, а не по их содержанию. Сочинения Пушкина были рассеяны по всем полкам. Один том, большой и толстый, стоял рядом с «Жуками» Фабра, другой — с Генрихом Гейне, а третий, щуплый и маленький, ютился среди каких-то унылых брошюр о земляных червях и жужелицах.

Серафим часто смеялся над этим и говорил:

— Что за нелепость! Ведь это Вавилон какой-то! Если не знаешь книгу в лицо, так тут ее и найти невозможно. Когда-нибудь доберусь я до них и все перетасую: Пушкина—к Пушкину, а жуков—к червям.

Вчера он, наконец, добрался до них и тасовал весь вечер. На полках вместо ровных восходящих линий получились зигзаги. Они-то и возмутили сердце отца.

— Ну что ж, он правильно сделал, — сказал я. — Так лучше, удобнее...

— Да как он смел! — закричал отец. — Вот уж воистину «услужливый дурак опаснее врага».

Он был явно несправедлив. Я обиделся за Симу.

— Он не дурак, — возразил я. — А если тебе не нравится так, я по-старому поставлю.

— Нет, уж ты этих книг не касайся! Слышишь! И чтоб Симка твой и носа к

нам не показывал!.. Какая наглость!.. В чужой монастырь со своими уставами...

И дрожащими руками стал выбрасывать книги из шкафа на пол. Мне стало его жалко.

— Давай помогу, — предложил я: мне не хотелось с ним ссориться.

А он вдруг опять закричал:

— Ступай, ступай! И без тебя обойдусь!..

Я повернулся и встретился взглядом с матерью. С полотенцем на плече она стояла в столовой прямо против двери, вытирала посуду и, покачивая головой, в упор смотрела на меня расширенными глазами, полными укоризны и скорби. Она молчала, но глаза ее ясно говорили: «Убить, убить хочешь отца!..» Она всегда все преувеличивает.

— Я не поеду с вами на дачу, — сказал я решительно и неожиданно для самого себя.

— Вот как! А куда же вы поедете?

Мать, когда сердится, всегда говорит мне вежливо «вы».

— В лагерь.

— Ну, конечно!.. Там удобнее слонов гонять!

— Для этого ума не требуется, — с'язвил отец.

— Ну уж это совсем не остроумно, — сказал я зло и грубо.

— Что-о?.. Ах ты свинья неблагодарная! — закричала мать, побагровев и выпучив глаза, и чуть не уронила тарелку.

У нее дрожали руки, губы, щеки.

— Вон, вон, грубиян!..

За спиной у меня рухнули книги. Их в бешенстве бросил отец и топнул ногой.

Я схватил кепку и вышел, захлопнув входную дверь. Стало тихо. На лестнице, на окне, жмурясь и греясь на солнце, лежала кошка. В соседней квартире кто-то играл на рояле. Приглушенные равномерные звуки взбегали вверх как по лестнице и так же бесстрастно и ровно сбегали вниз. И от кошки и от звуков этих так и веяло спокойствием. А тут...

И вдруг обида, жгучая обида сдавила мне горло, и я чуть не заплакал.

«Нет, довольно, довольно этих безобразных сцен! — думал я, сбегая вниз. — Если я их сын, так они могут позволять себе все, что им вздумается. И за что? Что я сделал? «Для этого ума не требуется»... Да как они не понимают всей этой пошлости? Как им не стыдно? И еще кричат, что я груб с ними... Когда они так унижают и меня и себя. Что за нелепые люди! И оскорбляют и любят! Я уверен, что отец уже раскаивается, бегает по комнате, ерошит свой чуб и ко всем чертям посылает свою несдержанность. И, конечно, во всем винит мать».

Расстроенный и возмущенный, я быстро шел по кривым арбатским переулкам к Серафиму. Вот и домик его, приземистый, белый, со старинными пилястрами и мезонином под серебряной шапкой громадного старого тополя.

Я люблю этот дом, и Серафим его любит. Он уверяет, что в нем когда-то жил помещик, гусар в отставке, хлебосол и кутила, у которого бывал и Пушкин. Может быть...

Я вошел во дворик, заросший травой у заборов, с дряхлым сараем в углу, вошел в полутемные сени и по каменной, уже стертой ногами лестнице поднялся к Серафиму на вышку.

В небольшой низкой комнатке за столом, примыкавшим к простенку с двумя окнами, сутулясь, сидел спиной ко мне Серафим и что-то читал. На стене перед ним висел портрет Пушкина в халате и белом воротнике. На столе в беспорядке лежала груда книг.

Я вошел, а он и ухом не повел. Семейная ссора так меня расстроила, что я вдруг оробел и уже раскаивался, что пришел.

— Ты занят, Серафим?..

— Занят, очень занят! — сказал он строгим басом и, повернувшись ко мне простоватым, некрасивым лицом, улыбнулся:

— Помнишь, в «Онегине»?

«И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой:
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а все без толку...»—

Вот и все мои занятия!

Он встал, лениво потянулся и уперся руками в потолок.

— А ты что такой кислый?

Я все ему рассказал. Он выслушал и сказал с философским спокойствием:

— Чудак! И ты еще возмущаешься, а я давно привык уже к этому. И все это вздор! По-моему, тут и обижаться-то не на что. И мой и твой отец — оба они хорошие, умные люди. Но... все они убеждены, что если нам с тобой стукнуло по пятнадцати лет, так нас все еще надо кормить манной жижей. Мы все еще деточки, подросточки... Что у нас и мозгов-то хватает только на то, чтоб резать парты ножами, гонять в футбол и зачитываться Майн-Ридом. Ну и бес с ними! Пусть думают, что хотят. Прав-

да, иногда это здорово злит. Слушай!.. А не махнуть ли нам на Ленинские горы? Погода-то!..

Серафим взял ключ и кепку, и мы вышли. На трамвае мы доехали до Новодевичьего монастыря с малиновыми башнями, потом уж пешком миновали зеленые розные грядки огородов и сели под ивой на берегу Москвы-реки, поджидая перевозчика.

Шагах в двадцати от нас под кустом сидел небритый старик в очках и в подтяжках и сердито смотрел на поплавки. Перед нами лениво нежилась на солнце спокойная, блестящая река. За рекой пристань и крутые горы, окутанные лесом, как зеленым дымом. Хорошо здесь! Это любимые наши места.

С того берега в большой неуклюжей лодке приплыл перевозчик, высадил двух веселых парней и девушку, посадил нас и лениво захлопал по воде веслами. Потом по извилистой тропинке мы поднялись на гору и через рощу ушли в поле.

Роща закрыла Москву. Теперь перед нами бежали дороги, межи с горькой полынью, холмы, овраги, кустарники. Вдали, налево, на пригорке, синел лесок, рядом деревушка с серыми и красными крышами. А впереди и направо безлюдный простор — поля, солнце и небо.

Мы сняли рубахи и долго бродили по холмам, по оврагам, пробирались сквозь чащу кустарников, нашли конский череп, белый, как гипс, схватились за руки и, как дикари, пустились вокруг него в пляс. А потом со всеми почестями зарыли череп в песок.

Глава вторая

В переулке горели огни, когда я подошел к дому.

Дверь открыла мать, посмотрела скорбным взглядом и ничего не сказала. Ушла в кухню и там вздохнула выразительно и шумно, как в театре.

В столовой над круглым столом уютно горела лампа с большим желтым абажуром. На столе две тарелки, глубокая и мелкая, одна на другой, хлеб в плетеной корзинке, накрытый вышитой салфеткой, нож, вилка и стакан молока.

«Так, пообедать дадут!»—вдруг нагло подумал я, почувствовав сильнейший голод.

Дверь в комнату отца была открыта. Отца я не видел, его заслоняла дверь, но я видел его отражение в стеклах книжного шкафа. Он сидел за письменным столом и что-то писал. На столе поблескивали пробирки и баночки с заспиртованными жуками и личинками и лампа под зеленым колпаком.

Книги в шкафу стояли не по росту, зигзагами. Как я и предвидел, после ссоры отцу все опостылело, и шкаф и книги, и он к ним уже не прикасался.

Я вошел в столовую, и в этой тяжелой тишине шаги мои мне самому показались слишком шумными и грубыми. А отца они раздражали, должно быть, неприятны были, как скрежет пилы по железу. Он нетерпеливо заерзал. Кресло заскрипело под ним.

Я сел за стол. Мать, молча и не глядя на меня, поставила передо мной миску с супом и ушла. Я понял, что оба они решили казнить меня молчанием, не замечать, как ничтожную букашку.

«Ну что же, помолчим! Букашка, так букашка...»

Презрение родителей подхлестнуло мое самолюбие. Я перестал стесняться. Налил супу и стал с жадностью есть.

Я положил ложку. Зазвонил звонок. По звонку я тотчас же догадался, что это приятель отца, Юрий Осипович. Я сорвался с места — и к двери, но мать, шмыгая мягкими туфлями, уже проплыла у меня перед носом и открыла дверь.

— Я не помешал? А-а... Ну, очень рад, очень рад!..

Отец так и встрепенулся, загремел креслом и кинулся навстречу гостю. Он был рад как мальчишка. Тишина и его терзала и мучила не меньше чем меня.

Я люблю Юрия Осиповича. Он простой, сердечный человек, талантливый художник, который не умеет устраиваться в жизни. За это его часто по-приятельски журит отец, который и сам, в сущности, такая же «шляпа».

Отец и мать попрежнему не замечали меня, но теперь уже без всяких усилий и притворства. Все их внимание было обращено на гостя. Я почувствовал себя какой-то пятой спицей в колеснице. Обидно и грустно мне стало. Я ушел в кабинет отца, сел в кресло, откинулся на спинку и раскрыл книгу. Но не читал, а слушал, как гремела чашками и чайными ложками мать, как Юрий Осипович, по обыкновению подсмеиваясь над своей безалаберностью, жаловался на свои неудачи.

— Нет, на самом-то деле! Мало того, что мне приходится рисовать полевых кло-

пов, водяных блох да жужелиц, но еще и от этой-то твари приходится переносить всякие издевательства. Ну, на самом-то деле! Вот вчера дали вы мне прыгунчика, притащил я его домой, выволок из спичечной коробки, приклеил лапками на лист бумаги... Только взял в руки карандаш, чтобы срисовать с него портрет, а он, негодяй, отодрал лапки — прыг! — и исчез. Ну разве это — не издевательство?

— Позвольте, как же так? — встревожился отец. — В институте вас ждут... Завтра утром вы должны уже сдать.

— В том-то и дело! А он ускакал от меня. Нет ли у вас другого прыгунчика?

— Да нет... Впрочем, знаете что? Я дам вам книгу, в ней очень точно и хорошо нарисован прыгунчик.

— Так это еще лучше!

Они подошли к книжному шкафу. Отец раскрыл дверцу.

— Хо! Что я вижу? — вдруг весело сказал Юрий Осипович. — Наконец-то кончился ваш Вавилон!

Отец как-то растерянно посмотрел на меня, как будто его уличили в чем-то конфузном. Мне смешно стало. Он тоже улыбнулся.

— Это Серафим, — сказал я.

— Серафим? Вот молодчина!

И Юрий Осипович стал его расхваливать. Отец молчал. Уткнувшись носом в шкаф, он водил пальцем по книжным переплетам.

— Нет, на самом-то деле! — продолжал Юрий Осипович (он всегда пускал в ход это свое «на самом-то деле», когда хотел быть особенно убедительным). — Он умный, талантливый парень. И какая память!.. Знаете, Сергей Васильевич, я просто поразился, когда он вот тут на диване чуть ли не всего «Онегина» наизусть прочитал. Вот при Саше...

— Сашук, — вдруг сказал отец так ласково, будто вся душа у него распахнулась настежь. — Посвети-ка мне... А, вот она!.. Не надо. Спасибо, дружок!

Он выдернул книгу и закрыл шкаф.

За чаем на отца напала странная рассеянность и суетливость. Он плохо слушал Юрия Осиповича, как-то озабоченно посматривал на меня, то и дело обращался ко мне, просил то хлеба нарезать, то сахар достать из буфета, сходить за чем-то на кухню. И все это ласковым, дружеским тоном.

Я уже изучил характер отца и отлично понимал причины его суетливости. Он мучился, бедняга, как всегда. Раздражение прошло, и теперь он стыдился, каялся, бичевал себя за ту безобразную сцену, которая разыгралась утром. Он во всем винил теперь только себя, свою несдержанность, нервность, считал себя плохим отцом, плохим воспитателем, жалел меня, всячески старался искупить передо мной вину свою и... суетился.

После чая Юрий Осипович взял книгу и заторопился домой рисовать прыгунчика. Отец вышел с ним на лестницу и заговорился о чем-то. Мать собрала посуду и ушла в кухню.

Я быстро постелил себе на диване в столовой, разделся, лег носом к стене, надвинул одеяло на ухо и закрыл глаза. Я нарочно так сделал, чтоб избежать об'яснений с отцом.

Отец запер дверь. Щелкнув выключателем, он потушил огонь в столовой и ушел к маме, на кухню. И вот они там зашептались и, вероятно, заспорили. Отец загорячился и повысил голос:

— Да что он там будет делать? А там Серафим... Конечно, ему интересней...

— Тсс!..

И опять зашептались. Потом отец на цыпочках через столовую прошел в кабинет, выдвинул ящик стола, пошелестел бумагой и тихо, тихо подошел ко мне.

— Ты спишь, Саша?

Я пробормотал что-то невнятное, как бы спросонья.

— Извини, голубчик... Тут на стуле деньги... Отнеси завтра в школу за лагерь...

Мне стало вдруг жарко от внезапного горячего чувства к отцу. Сердце застучало сильно, сильно. Я готов был броситься на шею своему бесхарактерному, нелепому и доброму папаньке. И почему я этого не сделал? Он был бы так счастлив!.. Но я не шевельнулся, и он ушел, тихонько закрыв за собой дверь.

Глава третья

Жарко, душно было, когда мы в самый полдень с узелками, с заплечными мешками шли лесными тропинками со станции к лагерю. Лес был густой и темный, но и в лесу после ночного дождя сильно парило.

Шли молча, вразброд, усталые, сомлев-

шие. У всех глаза были пустые и скучные.

Вышли на шоссе, на широкую тенистую аллею, и вдруг вдали, прямо против аллеи, ярко ударил в глаза своей сверкающей белизной великолепный белый дом, изогнутый полумесяцем. В середине он в два этажа. Два белых крыла его, украшенные легкими колоннами, тянулись навстречу нам.

За ним тополя парка, перед ним новая золотистая мачта для флага и пруд — тонкое, чистое зеркало, отражавшее дом, тополя, мачту и небо.

По ту сторону пруда я увидел девочку лет четырнадцати, в голубом платье, босую. Размахивая шляпой и белыми туфлями, она бежала вдоль пруда к дому с такой стремительностью, что легкое платье трепетало у нее за спиной. В пруду вниз головой бежала такая же девочка.

— Папа! Папа! Приехали! — кричала она звонким голосом.

Из дома вышел военный. Девочка бросила туфли, на ходу небрежно всунула в них ноги, подхватила отца под руку и потащила нам навстречу.

Она рвалась вперед, а за ней нерасторопно и грузно шагал плотный, широкоплечий папаша. Она бросила его и побежала одна во весь дух.

Девочки наши тоже пустились навстречу ей. Вот они сразбега столкнулись у пруда, сбились в кучу, завизжали и чуть не попадали. Потом окружили военного и вместе с ним, уже не торопясь и болтая о чем-то, пошли к дому. Поднялись по широкой, во весь фасад, лестнице и вошли в темную дверь.

Все это прошло передо мной, как в кино на экране.

Дом и внутри оказался таким же роскошным, как и снаружи: от вестибюля до громадной залы с красивым паркетом, с огромными окнами в парк и стеклянной дверью на широкую террасу, затененную зеленым плющем.

На террасе, посреди столов, накрытых к обеду, стоял военный, один. Сняв фуражку,

По ту сторону пруда я увидел девочку.

он вытирал платком лоб и смотрел на цветущие клумбы перед террасой, на липовую аллею за клумбами, темную и длинную, как туннель. В конце аллеи ярко светилась на солнце новая, еще не крашеная скамейка.

Я с любопытством посмотрел на него. Ему было лет сорок, не больше. Красивый, мужественный, серьезный человек, вероятно, всегда здоровый и бодрый. На рукаве у него был красный угольник, обшитый золотым позументом. Значит, полковник.

В соседней комнате суетились девочки, двигали столы, кровати и спорили из-за мест возле окон.

— Нет, не ты, а Ника будет спать у окна...— убеждала кого-то Муся Вершинина.

«Ника?.. Кто же эта Ника? — подумал я. — А-а, должно быть, та, в голубом... Разве она с нами будет жить?»

Наверху, где наши спальни, комнаты были значительно меньше и ниже, но зато они были как-то милее, уютнее.

Мы разместились в трех комнатах.

Мне, Серафиму и нашему «фотографисту» Тошке Апрелеву досталась самая маленькая, с тремя кроватями, со столиком у окна в парк.

Под окном рос тополь так близко, что можно было протянуть руку, ухватиться за сук и спуститься вниз. Густой, плотной листвой он закрывал окно от солнца, от чего в комнате было несколько сумрачно, но зато прохладно.

— Ну, Тошка, — сказал Серафим, когда мы осмотрелись, — уж кому-кому, а тебе тут раздолье. Честное слово! Мне так и кажется, что это какой-то волшебник нарочно собрал все самое прекрасное, что есть в природе, и раскинул здесь перед нами. Вот вам: любуйтесь, наслаждайтесь, снимайте, Анатолий Николаевич, и сделайте такой альбом, чтоб все ахнули!

Тошка улыбался, довольный, счастливый. Он уже вертел в руках аппарат, проверяя что-то, щелкал затвором и сгорал от нетерпения. Скорее, скорее бы к пруду, в парк, в поле и всюду снимать, снимать великолепные виды!

На террасе звонил колокол, звал к обеду.

Глава четвертая

Я не в отца, должно быть. Страсть отца — насекомые. Он может днями, забравшись куда-нибудь в лес, сидеть у муравейника и смотреть на суету муравьев или дома у себя за столом рассматривать в лупу козявок, букашек.

А я ко всему этому глубоко равнодушен. Моя страсть — люди, особенно незнакомые люди. На бульваре, в театре, на улице и где бы то ни было я люблю смотреть на незнакомых людей и разгадывать их, как ребусы. Что это за люди? Что в них таится: ум или глупость, сила или слабость? О чем они думают? Что их волнует?

За обедом я смотрел на Нику, украдкой, конечно, как сыщик. Она сидела против нас с Серафимом, рядом с Мусей Вершининой, с которой она, повидимому, уже подружилась.

Муся — прекрасная девочка! Она и красива (одно время мне казалось, что красивей и быть невозможно) и так умна, что не кичится своей красотой; держится просто — с ней легко, как с другом. Она всегда мне нравилась больше других именно за эту свою простоту.

А рядом с Никой она потускнела, показалась мне какой-то простоватой, будничной, вялой. В ней не было и тени той живости, того таинственного очарования, которое так и бросилось мне в глаза при первом же взгляде на Нику. И я с первого же взгляда решил, что это человек необыкновенный, особенный, какого я никогда еще не видел и другого такого, может быть, никогда и не увижу.

Почему я так решил, не знаю, но твердо решил и страшно оробел перед ней, так оробел, что уж и смотрел-то на нее с опаской.

Мне очень хотелось бы описать Нику, нарисовать портрет ее, как это делают обычно писатели, — и не могу, не умею. Пробовал — и ничего не вышло. Вероятно, потому, что вся суть, все очарование ее лица вовсе не в отдельных чертах его, не в бровях, не в глазах, не в цвете волос, которые, может быть, и не так уж мудрено описать, а в выражении лица, чрезвычайно живого и изменчивого.

Чем больше я смотрел на нее, тем все больше и больше уверялся, что это человек особенный, перед которым я нуль, совершенное ничтожество. От того и робел и даже стыдился себя. Скверное это чувство! Оно всего меня сковывало, делало неуклюжим, неловким, и я уж боялся, как бы не опрокинуть чего-нибудь прямо на скатерть или

себе на колени и не показаться смешным и глупым, — словом, раскис безобразнейшим образом.

Это раздражало меня, и я подконец взбунтовался: «Да что это я в самом деле?.. Все это вздор! И нет в ней ничего особенного. Все это одна моя восторженность, из-за которой я не раз уже попадал впросак. Вот Серафим...»

Серафим сидел хмурый, серьезный и спокойно ел отбивную котлету. Никакой восторженности! Я позавидовал ему. Завидовал я и Сеньке Брусиловскому, этому шуту гороховому, который, не стесняясь, валял дурака и всячески старался поразить своими остротами Нику. И не без успеха. Она слушала его болтовню и смеялась, когда ему удавалось сострить. Меня это злило.

После обеда я сейчас же ушел к себе в комнату. Проходя через зал, я увидел всего себя, с ног до головы, в огромном зеркале. И это меня окончательно огорчило и расстроило. Мне показалось, что на мне и брюки-то нелепо сидят и лицо-то у меня самое обыкновенное.

Ну что это за лицо? Ничего резкого, бросающегося в глаза. В ту минуту я, не задумываясь, поменялся бы внешностью с любым уродом, с каким-нибудь мрачным чудовищем, своеобразным, сильным, про которого не скажешь: «Ах, какой славный мальчик!»,—мимо которого не пройдешь, не заметив, а заметишь — никогда уж не забудешь.

Я с отвращением отвернулся от зеркала и побежал наверх. Следом за мной пришел Серафим, вялый и грустный. Сел на кровать, обвел комнатенку взглядом и сказал:

— Итак,

«Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил», —

и, кажется, всех передавил. Ни одной не видать.

Я спросил его так, между прочим, как будто меня это вовсе не интересует, понравилась ли ему Ника.

— Ничего, — ответил он равнодушно. — Капризная, должно быть... А может быть, и нет... Поживем — увидим.

Он зевнул, разделся и в одних трусиках с книгой в руках лег на кровать.

За окном, на террасе, гремели тарелки, ножи. Дежурные убирали со стола. Вожатый гнал ребят в спальни. Ребята волынили, не шли и страшно галдели.

Я высунулся в окно и увидел Мусю и Нику. Тошка не утерпел, конечно, и уже снимал их. Они стояли под тополем, возле клумбы, с застывшими лицами, как две куклы. А Тошка наставил на них аппарат на треножнике и, сутулясь, накрылся черным платком. Он волновался: наконец-то нашел «сюжет», достойный его аппарата!

Мне это не понравилось, разочаровало как-то. Взбрела мне в голову эта особенность Ники, и я ждал от нее чего-то совершенно необыкновенного. А тут вон что...

Тошка, красный от духоты и волнения, вынырнул из-под платка, вставил касету. Дальше я уже знал, что будет. Сейчас Тошка вдохновенным голосом скажет: «Улыбайтесь (у него все снимки оскаленные). Так... Снимаю!» — и щелкнет затвором.

Как это скучно! Я отошел от окна.

— Улыбайтесь... — послышался голос Тошки.

Я разделся и лег.

Пришел Тошка чрезвычайно довольный.

— Ну как? Хорош «сюжет»? — спросил Симка.

— В-в-великолепный! — воскликнул Тошка, не замечая подвоха. — Такой, понимаешь!.. На выставку... И примут... Уверяю тебя!

— О-о! Не сомневаюсь, нисколько не сомневаюсь! У тебя же талант, Тошка.

И Серафим с самым серьезным видом стал морочить ему голову:

— У тебя, Тошка, блестящая будущность! Говорят, художники выше фотографов, что будто бы только художники создают произведения искусства, а фотография — и не искусство вовсе, а дрянь. Не верь, не верь, Тошка! Все это брехня! Будущее принадлежит фотографам. Да, да!.. Вот скоро войдет в силу цветная фотография и все сметет на своем пути. Художники вымрут, как мамонты, и останутся одни фотографы со своими треножниками. Сам посуди: какому дураку придет тогда в голову марать холсты краской? Смысл-то какой? Чтоб написать портрет или пейзажик, художнику надо неделю провозиться, а то и месяц, а до этого сколько учиться, мучиться, сколько холстов перепортить и красок. Да и как еще он там нарисует? А фотография — дело верное. Наставил, щелк—и готово. Ведь верно?.. Я часто думаю: «Эх, если б у меня был аппарат...»

— Улыбайтесь. Так... Снимаю!

— Нет, ты серьезно? — страшно удивился и обрадовался Тошка. — Чудак!.. Что ж ты не скажешь?.. С удовольствием, с удовольствием тебе одолжу.

Тошка был слишком добрым и наивным парнем, чтоб вся эта комедия могла доставить хоть какое-нибудь удовольствие. Серафим сейчас же опустил занавес и сказал уже без всякой каверзы:

— Спасибо, Тошка!.. Ложись спать. Ты все-таки хороший парень.

И отвернулся носом к стене.

Меня это удивило. Видно, уж день для меня был такой удивительный. Удивило не то, что Серафим зря и, прямо скажу, нехорошо, недостойно потешался над Тошкой, а то, что он был какой-то грустный, как будто обидел его кто-то, как будто он срывал свою обиду на Тошке. Да и всю эту ахинею насчет фотографии он изложил без всякого задора, совсем не так, как он сделал бы это в обычном своем состоянии.

Серафим и Тошка скоро уснули. А я не спал, лежал и думал. Было тихо. В парке пели иволга и еще какие-то птички. Мне ясно, ясно представилось все, что так поразило меня в этот день: дом, пруд, Ника...

И уже не думы, а мечты подхватили меня и понесли. Я страшно тогда размечтался, и все о подвигах, которыми мне во что бы то ни стало хотелось поразить весь мир и еще одного человека. Я бросался с парохода в страшное, бурное море, спасал каких-то младенцев, свалившихся с палубы, шел по улицам и слышал за собой шопот славы: «Это он... наш первый писатель...» И все в том же роде.

Весь час промечтал и подконец так уверился, что все это непременно так и будет, что, пожалуй, я и сейчас уже, хоть и никому не ведомый, но настоящий герой, что мне даже и странным показалось, чего это я давеча так оробел, застыдился себя. «Проще, увереннее надо быть. Ведь в жизни все проще, чем думаешь. Вот за чаем возьму и заговорю и приглашу играть в волейбол...»

Зазвонил звонок. Все проснулись и с шумом побежали на террасу пить чай. Я еще на лестнице вдруг все передумал и решил: не лезть с разговорами, держаться в сторонке. Так лучше, спокойнее...

А когда после чая Валька Аджемов, Муся, Ника и Тошка и еще кое-кто из ребят пошли к пруду играть в волейбол и Тошка крикнул нам: «Сима! Саша! Идите к нам в партию!» — мы оба отказались и ушли в парк.

— Сима, Сима! — смешно, как старик, ворчал Серафим, когда мы шли по парку. — У тебя вот прекрасное имя — Александр Сергеевич. А у меня... Чорт знает что! Не то мужик, нето баба. И рифма-то к нему — «невыносимо».

Он нахмурился и вдруг засмеялся:

— Идея!.. Знаешь, что? Придумал себе имя: Невыносим Петрович! Так лучше, оригинальнее да и больше подходит к моему отвратительному характеру.

Он совсем развеселился, и мы стали болтать уже о другом.

За парком по дну оврага, заросшего ольхой и ивой, протекала речонка, почти пересохшая. Мы переправились через нее, выбрались из оврага и очутились у заброшенного и уже заросшего бурьяном кирпичного завода, за которым шли к горизонту поля. Налево, за овсами, за пригорком, километрах в двух от нас, торчали ивы и крыши какой-то деревушки.

Мы заглянули внутрь развалин — запустение, щебень, кости какие-то. Из-под крыши с шумом вылетела сова, пышным серым комом села на низкий столб в овсах и неподвижно, как чучело, уставилась на нас своими громадными глазами.

Мы сели на меже и смотрели на сову, на облака, пышные, белые. Из-за парка ясно доносились до нас то дружный смех, то отдельные голоса ребят, игравших в волейбол.

И меня вдруг потянуло туда, к ребятам.

«Глупо, глупо мы ведем себя! — подумал я. — Там веселятся, а мы... Чорт знает что! Разводим какую-то меланхолию. Одна сова чего стоит...»

— Брысь ты! — закричал я во все горло и бросил в нее палкой.

Она взмахнула крыльями, перелетела и скрылась где-то в овсах.

— Чего это ты вз'елся на нее? — засмеялся Серафим.

Я откровенно высказал все, что думал.

— Да, это верно! — подхватил он с горячностью. — Нельзя так... Я сам сейчас думал... Так скоро и в самом деле превратишься в Невыносима Петровича. И чего это я давеча прицепился к Тошке? Ведь он в тысячу, в тысячу раз лучше меня, а я свинья. Пойдем к ним!

И мы пошли к дому играть в волейбол.

Глава пятая

Со следующего дня все пошло как-то ровнее и проще. Ребята осмотрелись и с самого утра, разбившись на группы, занялись делом. Одни чинили и красили лодку у пруда, другие бродили по парку, высматривая каких-то жуков и птичек, третьи мастери-

ли удочки, корабли с парусами, аэропланы, змеи с трещотками. У всех были свои заветные дела и планы.

Мое вчерашнее возбуждение тоже улеглось, новизна прошла, и я чувствовал себя гораздо спокойнее.

Я не буду описывать нашу повседневную жизнь. Она была такая же, как и во всех лагерях. Расскажу только про самое главное.

В лагере нас было человек тридцать да еще начальник лагеря, вожатый, доктор, повариха и сторож Сергей Сеновалыч.

Доктор был какой-то нелюдимый, нето очень занятой человек. Он целыми днями сидел у себя на балконе, во флигеле, в плетеном кресле за столиком, и, подперев рукой голову, что-то читал и писал.

Вожатый Константин Иванович работал у нас недавно, и мы мало его знали. Совсем молодой еще, он был отличный физкультурник и сильный, как борец. Он гнул толстые железные прутья, перевязывал ремнем свои бицепсы, сгибал руку и рвал ремень надвое. За силу-то мы его и любили, а иные даже и преклонялись перед ним.

Зато Николай Андреевич, начальник лагеря, был человеком совершенно особенным. Уж перед ним-то мы все преклонялись и страшно любили его. Да и он нас любил.

Худой, угрюмый на вид, он держался по-военному, потому что был когда-то военным. Всю молодость провел на фронтах, был ранен не раз, после чего началась у него какая-то странная болезнь, из-за которой он вынужден был оставить военную службу.

Умный, требовательный и в то же время добрейшей души человек. Надо было видеть лицо его, когда он во время обеда или ужина, бывало, зайдет на террасу, встанет и так ласково, ласково посмотрит на нас, убедится, что все хорошо, все довольны, улыбнется и уйдет.

Но это не весь еще Николай Андреевич. Было в нем и еще что-то, что резко отличало его от других людей. Я, например, не мог его себе представить женатым, в семейном кругу, занятым какими-то своими личными делами, хлопочущим о себе, а не о других. Но почему-то легко мог представить, что вот он один в сумерках сидит в полупустой комнате на стуле и ему чрезвычайно грустно. Почему так? Не знаю.

На другой же день я узнал, уже не помню, от кого, что Николай Андреевич и отец Ники, оказывается,—старинные друзья еще по Сибири, по фронту; что отца Ники недавно перевели в Москву; что матери у Ники нет: она умерла; что Ника у него одна дочь и отец будто бы души в ней не чает; что Николай Андреевич где-то случайно, чуть ли не на улице, встретился с отцом Ники и предложил ему взять Нику в лагерь к себе, чему тот очень обрадовался, потому что не знал, куда пристроить Нику на лето.

Все эти сведения меня страшно тогда взбудоражили. Старинная дружба, случайная встреча после долгой разлуки, единственная дочь — все это показалось мне чрезвычайно романтичным, необыкновенным, как в книге. Я сейчас же бросился искать ее, хотел хоть издали понаблюдать за ней, посмотреть, с кем она и что делает, но она исчезла куда-то, и я не видел ее ни у пруда, ни в парке.

И опять я размечтался. Так захотелось мне выкинуть что-нибудь необыкновенное, спасти кого-нибудь или при всех побороть Константина Ивановича. И вот, проходя мимо окон Николая Андреевича, я случайно увидел, что он стоит у стола и чистит мелкокалиберную винтовку. У меня сразу же мелькнула мысль: вот чем я могу козырнуть! Я стрелял порядочно, у меня верный глаз и рука твердая, а тут я совсем почему-то уверовал, что я замечательный стрелок и все пули всажу прямо в «яблочко».

Я сунулся в окно:

— Зачем это вы, Николай Андреевич? Стрелять? Можно и мне?..

— Хорошо, хорошо... Сейчас все пойдем.

Он улыбнулся, заметив мое нетерпение:

— Вы, поди, уж и стрелять-то разучились?..

— Нет, нет! Вот увидите!

— Месяца два не стреляли? Ну, конечно, разучились. Ну пойдем.

Он вынул из стола мишени, пули, вышел с винтовкой на террасу и крикнул:

— Ребята, стрелять!

Сразу же со всех сторон набежали ребята, и мы пошли к полю за парк. В конце аллеи встретили девочек. С ними был Сенька Брусиловский, Валька Аджемов и Константин Иванович. Они ходили, оказывается, в соседнюю деревню, в колхоз, узнать, есть ли там пионерский отряд и что он делает.

Николай Андреевич и их позвал с собой. Мне это-то и надо было. Пусть сейчас посмотрят!

Направо, за парком, был большой овраг с крутым глинистым обрывом, за обрывом — поле. И вот тут-то к обрыву мы при-

крепили мишени, отмерили двадцать пять метров и стали стрелять.

Все страшно мазали. Николай Андреевич прав оказался: за два месяца все разучились и стреляли гораздо хуже чем когда-то в школе, в подвале. Из этого нетрудно было бы заключить, что, вероятно, и я буду так же скверно стрелять. Но я до того был уверен в себе, что мне это и в голову не приходило. Наоборот, я смотрел на это как на счастливое стечение обстоятельств, которое должно было только усилить мое торжество. И я нарочно выжидал, не стрелял, хоть и дрожал от нетерпения. Думал: «Пусть все, все выстрелят, и потом уж я... Пуля в пулю!»

Серафим выбил всего десять очков. Я и не ждал от него большего: по слабости зрения он всегда незажно стрелял. Но сам-то он, повидимому, надеялся на большее. Правда, он и виду не показал, но я-то заметил, потому что слишком хорошо его знал, что это обозлило и огорчило его.

Чудак! Мне это смешным показалось. И вообще чем больше мазали, тем больше меня охватывало какое-то злорадное веселье, и я еле сдерживал нервный смех.

После Вальки Аджемова я рванулся было к винтовке, но у меня перехватила ее Ника. Она к себе потянула, я — к себе, и получилось крайне неловко, как будто мы вырывали друг у друга.

— Можно мне? — спросила она, как бы извиняясь за эту неловкость и смотря мне прямо в глаза.

— Пожалуйста! Пожалуйста! — закричал я, чувствуя, что не владею собой и страшно краснею.

Она легла на траву, нацепила ремень на локоть и выстрелила пять раз.

Я все время думал, что не надо бегать к мишени, особенно перед тем, как стрелять, потому что от беготни и сердце сильнее стучит и руки дрожать начинают. А тут не выдержал, сорвался с места и побежал. Глянул на мишень — и самоуверенность моя поколебалась. Я струсил, испугался за успех моего торжества: две пули пробили «яблочко», остальные были рядом, в белом поле.

Ребята зашумели. Я видел их удивление, их восторженные взгляды, слышал их восторженные похвалы, все то, чего я так нетерпеливо ждал для себя. Недоброе чувство шевельнулось во мне по отношению к Нике: как будто она выхватила у меня из-под носа и несправедливо присвоила себе мое счастье.

Николай Андреевич похвалил ее, как всегда, спокойно, сдержанно, спросил, не отец ли ее так научил, и посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и мне показалось, что он все, все знает, что во мне происходит, и боится за меня.

— Ну, теперь ты, Саша.

Он передал мне винтовку, а во мне все уже ныло, и я жизнь бы отдал, лишь бы сейчас не стрелять. Сердце стучало, руки дрожали. Я почти наверное знал, что опозорюсь сейчас. И все-таки, когда стал целиться, опять вдруг уверовал в свое торжество, в свою удачу. Выстрелил, бросил винтовку, вскочил и во весь дух побежал к мишени.

Я всего ожидал, но только не того, что увидел: одна-единственная пуля пробила «десятку», остальных же и следов не было: они пролетели мимо мишени в глину. Так постыдно я никогда еще не стрелял! Хуже Симки, хуже Муси Вершининой!

Сенька Брусиловский что-то сострил на мой счет. Все засмеялись. А я чуть не бросился на него с кулаками. Обозлился, загорячился, стал об'яснять, оправдываться, и вышло совсем уже глупо.

Как я тогда ненавидел их всех! В каждом их слове, в каждом их взгляде мне чудилась злорадная насмешка! Мне, как глупому ребенку, хотелось крикнуть: «Все вы дураки!»,—топнуть ногой и убежать куда-нибудь в лес, в чащу, подальше от них. Но я сдержал себя и не убежал. И тут неожиданно подбодрил и выручил меня Николай Андреевич.

Теперь была его очередь стрелять. Он лег, а мы встали позади него полукругом. Он был превосходным стрелком. Все это знали. На двадцать пять метров он, зажмурясь, мог садить пулю в пулю. А тут и он вдруг оскандалился и выбил какие-то пустяки. Мне сразу стало легче. Значит, и мой промах не такой уж позорный. И тут явно простая случайность! Я воспрянул духом.

Но вот кто-то крикнул с досадой:

— Да что это с вами, Николай Андреевич!

— А что же тут такого? — сказал он. — Отвык, давно не стрелял... Вон и Саша тоже как скверно стрелял!

Сказал про меня, а на меня и не посмотрел. И это мне подозрительным показалось, и я подумал: «А не нарочно ли он это все, чтоб меня успокоить?»

И опять во мне все закипело. Я повернулся и ушел домой один.

«Ну да, это он нарочно, нарочно так сделал! — думал я, шагая не по дорожкам, а прямиком через заросли. — И на кой чорт? Кто его просил? Не нуждаюсь я ни в чьих утешениях! Промазал и промазал!.. Это — мое дело... И нечего нос совать и лезть со своими утешениями!»

Я впервые рассердился на Николая Андреевича. Я почему-то был уверен, что как только я ушел оттуда, он сейчас же и сказал ребятам по секрету, что он это нарочно промазал, для меня только. И вот они теперь перемывают мне косточки, смеются как над дураком. Придут и будут притворяться, делать вид, как будто ничего не знают, а по глазам-то я сразу увижу, что они все, все уже знают.

Сейчас мне все это кажется смешным ребячеством, бредом каким-то, а тогда я так расстроился, поник и совершенно пал духом. Хуже всего то, что я не умел, да и сейчас не умею скрывать своих чувств. Серафим сейчас же заметил мое состояние и даже вскрикнул с испугом:

— Да что с тобой? Что случилось?.. Да неужели же от этой ерунды? Николай Андреевич, и тот ведь...

— Он нарочно! Я знаю!.. — закричал я запальчиво и высказал ему свои подозрения.

— Ты думаешь? — сказал он раздумчиво. — Едва ли... Ну, а если даже и так? Не тебя же одного он хотел успокоить. Там ведь все распетушились! Не стрельба была, а сплошная гибель прекрасных надежд! И если это не твоя фантазия, так Николай Андреевич умно, очень умно это сделал. Только не думаю... А Ника-то!.. Вот тебе и девчонка!

— Ну, это отец ее научил...

— Да мало ли кого отцы учат! Иную умницу учат, учат, а она все норовит винтовку наставить дулом к плечу, а ложей к мишени.

Серафим разговорил, успокоил меня, но все-таки я был убит, раздражался и кидался на всех по малейшему поводу. К счастью, привалила горячая работа, я ухватился за нее и забыл все на свете.

Вечером у нас было собрание по поводу открытия лагеря. Помимо танцев, декламации, фокусов решили во что бы то ни стало устроить спектакль при свете ламп и пестрых бумажных фонариков: на террасе сцену устроить, а перед террасой стулья, скамейки поставить и разыграть что-нибудь. Но что? Пьесы у нас не было. И вот мы с Серафимом вызвались сами сочинить пьесу, как сможем.

Срок у нас был небольшой — всего пять дней до открытия лагеря. Но нас это не смущало. В тот же вечер, после ужина, мы ушли с ним к кирпичному заводу, растянулись на меже и, заложив руки под головы, стали думать. Оба мы были неопытные сочинители и не знали, как взяться за дело. Главное, нам хотелось придумать что-нибудь потрескучее, потрагичнее, с выстрелами, чтоб у зрителя слезы лились ручьем, а ничего такого не придумывалось.

— Ну как? Проясняется что-нибудь? — спросил Серафим. — Нет? Ну, у меня тоже. Но ты думай, думай, шевели мозгами! А знаешь, что... Не надо никакой трагедии! Ну какие мы с тобой Шекспиры? И выйдет у нас не трагедия, а чепуха какая-нибудь... Это я уже чувствую. Лучше попроще, повеселее что-нибудь. Да и то еще надо учесть, что у нас костюмов-то нет никаких. И где мы их тут возьмем? Надо что-нибудь из пионерской жизни, чтоб играть, не переодеваясь. Это очень важно. Ну, думай, думай!

И мы опять стали думать. Серафим, сдвинув брови, нетерпеливо грыз былинку. А я бормотал про себя: «Пионеры, пионеры... Но что бы с ними такое могло случиться?..»

И вдруг меня осенило.

— Знаешь, что... — сказал я, приподнимаясь на локте. — Только это не так уж оригинально.

— Да все равно! Уж какая тут оригинальность, когда сроку-то с куриный нос. Главное — начать, а потом уж мы фасон наведем. Рассказывай!

— Поздно вечером пионеры сидят в лесу, у костра, поют, пляшут, декламируют, фокусы показывают, картошку пекут. Тут, понимаешь, все ребята наши могут блеснуть своими талантами, и все это очень естественно.

— Ну, а потом?

— Потом рассказывают страшные истории и смеются над одним пионером, ну как бы это его назвать?.. Ну, Петей, что ли, которого все почему-то считают трусом. Петя храбрится и, чтоб доказать свою храбрость, берет ведро или кружку и уходит за водой в овраг, к ручью.

— Да, Шекспиром пока что не пахнет... Ну, ничего. А дальше что?

— А дальше все ждут, что Петя вот-вот сейчас прибежит дрожащий, бледный. А его

все нет и нет. Начинают беспокоиться, молчат, прислушиваются — кругом тихо. Но вот раздается странный шорох, как будто крадется кто-то. И вдруг из лесу выходит страшное чудовище с конским черепом вместо головы. Все удирают, конечно.

— А что же это за чудовище?

— А это, видишь ли, Петя решил проучить насмешников и заранее приготовил череп и какую-нибудь там дерюгу. Тут он все сбрасывает с себя и садится есть картошку.

— И все?

— А чего же еще?

— Нет, так нельзя. Ведь это мы в десять минут разыграем. Что же это за пьеса? А нельзя ли как-нибудь сюда еще попа приплести, чтоб посмешнее было? С попами всегда смешно бывает.

— Да как ты его сюда приплетешь? Как он в лесу-то очутится? Ночью-то?

— Гм!.. А может, у него корова пропала.

— Нет, не корова... Знаешь, как сделаем: сельский поп в соломенной шляпе, с громадной корзиной пошел утром в лес за грибами и заблудился. И вот Петя сидит у костра, раскладывает хлеб, масло и радуется, что вот он сейчас покушает в свое удовольствие. Разложил и только стал чистить картошку, вдруг слышит, кто-то бормочет в лесу: «Господи Иисусе! Да где же это я? Закружила нечистая сила!..» Ну что-нибудь в этом роде. Петю в дрожь от страха: один ведь в лесу-то. Картошка у него валится из рук, и он прячется в кустах. И тут на сцену вваливается поп...

— Голодный, — подхватил Серафим, — с утра не ел ничего. А тут вдруг картошка, хлеб, масло. У него глаза на лоб полезли. «Картошка! А! Картошка!..» Понимаешь, он это должен сказать с такой радостью, с такой нежностью, как будто он клад нашел. Это здорово можно разыграть! Потом он осматривается, недоумевает, где же хозяева, и набрасывается на картошку со страшной жадностью. Намазывает масло на хлеб, картошку чистит, обжигается и, как вор, смотрит по сторонам, как бы не накрыли хозяева. Ведь могут по шее накласть за картошку-то. А дальше? А дальше — тпру!

— Нет, не тпру! — это уже я подхватил. — Только он поднес картошку ко рту, вдруг голоса в лесу: «Скорей, скорей! Он тут! Он из лесу вышел! Он у костра, должно быть, сидит!» Поп в ужасе думает, что на него облава. Он вскакивает и сломя голову — в лес. А корзина с грибами остается. Потом с палками, с кольями приходят пионеры, с ними вожатый. И видят: у костра сидит Петя и ест картошку. «Где же это вы пропадали? — спрашивает он. — А я тут от скуки вон какую корзинищу грибов набрал». Все, конечно, в изумлении. И тут можно закончить немой сценой, как в «Ревизоре».

Вот и все, что мы придумали. Пустяки, конечно.

Кое-что мы потом изменили, навели фасон, но все-таки сами были далеко не в восторге от нашей комедии, а ребятам она почему-то понравилась, и мы на третий день стали репетировать. Попа взялся играть Серафим, а я — Петю, Муся и Ника — двух пионерок, которые должны были танцовать у костра.

Хорошие это были дни! В суете, в беготне, в спешке...

Глава седьмая

Настал торжественный день. Накануне было пасмурно, и мы боялись, что вот проснемся завтра, а по крыше уныло барабанит дождь и ветер дует холодный. Проснулись, а день-то жаркий, солнечный. В парке листья лепечут, а по небу плавно плывут облака.

Часам к одиннадцати стали съезжаться родители. Я пошел встречать своих и вдруг вместо отца с матерью совершенно неожиданно встретил в лесу Юрия Осиповича, в белом картузе и с альбомом для рисования подмышкой. Я испугался: уж не случилось ли чего-нибудь? Но нет, все оказалось благополучно. Просто отцу надо было срочно дописать статью для какого-то журнала, которую он давно уже должен был сдать и не сдал по обыкновению. А маме не хотелось оставлять его одного. Вот они и просили Юрия Осиповича навестить меня, передать записку и сверток со сладостями.

Я прочитал записку, и мне стало грустно за отца. Он так любит шум, суету, домашние спектакли и так всегда умиляется, когда ребята танцуют, поют, декламируют! Если бы он приехал, он, конечно, сейчас же, забыв про свой возраст, начал бы суетиться вместе с ними: приколачивать занавес, декорации ставить, гримировать нас, развешивать фонарики. И все вокруг него закрутилось бы! Но он не приехал и сейчас сидит за столом, как школьник за скучным

уроком, пишет, черкает и сердится, потому что не может сосредоточиться, потому что мысли-то его далеко-далеко, здесь, в лагере, с нами.

— Хорошо у вас! — сказал Юрий Осипович, сняв картуз и с нежностью посматривая на кусты, на березки.

— Это еще что!.. Это так... А дальше там... Вот увидите сейчас...

И я повел его в лагерь. И вдруг сообразил: да ведь это сама судьба нам его посылает! Ведь декорации-то мы еще не сделали. А главное, у нас не было конского черепа. Мы с Серафимом обшарили все овраги и нигде не нашли. Обещали к вечеру принести ребята из колхоза, но принесут ли они? Мы начали было делать просто маску из бумаги, но у нас вышло что-то нелепое, глупое и совсем нестрашное.

— Помогите нам, Юрий Осипович, — попросил я, посвятив его в наши дела.

— Ну что же, с удовольствием, с удовольствием!

Я и отдохнуть ему не дал, привел к себе в комнату и засадил за работу.

В двенадцать часов весь отряд наш выстроился на линейку перед мачтой с опущенным флагом. В стороне, вдоль домов, стояли родители, ребята из соседней деревни, доктор наш, повариха в белом халате и Сергей Сеновалыч в огромной соломенной шляпе.

Николай Андреевич взошел на трибуну. Он сказал всего несколько слов об открытии лагеря, о том, что советские дети — действительно счастливые дети.

— Я говорю это так уверенно, потому что вижу перед собой ваши лица. А они вон какие у вас!..

Он улыбнулся:

— Конечно, будут у нас и огорчения, множество огорчений. Ведь надо будет вовремя спать ложиться, вовремя вставать, а вовремя-то это иногда и не хочется делать, вот и огорчения. В волейбол проиграл — опять огорчение. Но огорчения-то не такие уж страшные. Они пройдут, и останется только приятное воспоминание.

Говорил он спокойно, просто, без всякого красноречия, а в голосе, в глазах было еще что-то невысказанное, что придавало словам его какую-то особую глубину и торжественность.

Потом говорил представитель райкома комсомола, потом пошли пожелания, приветствия от родителей, от колхозных пионеров, потом Николай Андреевич скомандовал:

— На флаг!

— Есть на флаг! — отчеканил Валька Аджемов.

— Флаг лагеря поднять!

— Есть поднять!

И под гром барабана и горна флаг медленно поплыл по воздуху в небо, к вершине мачты, остановился и, расправясь, заколыхался на фоне пышного облака.

Я уже говорил, что вожатый Константин Иванович был отличным физкультурником. Мы подготовили с ним несколько хороших номеров и показали их после поднятия флага.

Из-за парка между тем плыли и плыли облака все темнее и гуще, и где-то глухо погромыхивал гром. А когда мы делали последнюю пирамиду, небо уже совсем почернело, поднялся ветер, флаг на мачте захлопал, тревожно зашумели деревья, блеснула молния, раздался гулкий треск и послышался шум быстро приближающегося дождя. Вот упала на сцену тяжелая холодная капля, вторая, третья — и пошел крупный дождь.

Пирамида рассыпалась, и мы с веселым криком бросились в дом следом за нашими зрителями.

Через четверть часа туча отгремела и ушла, и мы обедали на террасе уже при ярком солнце.

Глава восьмая

Вечером, перед спектаклем, в самый разгар волнений и спешки, к террасе подошел паренек из колхоза и стал мне делать какие-то таинственные знаки. Я вышел к нему. Он молча повел меня в парк, за кусты. А за кустами стоял другой паренек, такой же таинственный и чем-то очень довольный. В руках он держал что-то большое, белое, завернутое в лопухи.

— Насилу нашли, — прошептал он.

— А что это?..

Я отогнул лопухи — это был конский череп. Я совсем забыл про него. Да и ненужен он был: Юрий Осипович уже сделал мне великолепную маску дьявола с кабаньим рылом, фантастическую, страшную и в то же время чрезвычайно смешную. Но я не стал их разочаровывать, взял череп и спрятал в кусты, как будто потом за ним прибегу.

Вернулся на террасу, а у Серафима в руках такой же череп. Оказывается, и этот

притащили деревенские ребята. Мне смешно стало и страшно: того и гляди, эти пареньки еще приволокут и превратят лагерь в конское кладбище.

Вечер был тихий и теплый. Родители и ребята, не участвовавшие в спектакле, гуляли в парке, у пруда. А мы хлопотали, устраивали сцену, ставили декорации: настоящие березки и елки привязывали к потолку террасы, а снизу обкладывали мхом; развешивали пестрые фонарики, ставили скамейки и стулья для зрителей.

Когда все кончили, я присел на минуту отдохнуть. Ребята ушли куда-то. Я был один и только тут, в тишине, заметил, какое у нас оживление. Отовсюду доносились разнообразные звуки: скрип уключин, стук волейбольного мяча, городков, говор, смех— и все это сливалось в своеобразный праздничный шум.

Ника гуляла с отцом по аллее. Они о чем-то говорили, спорили и даже, повидимому, ссорились. Неужели и они?..

Меня удивило. И Ника и отец ее так непохожи были на меня, на отца моего и на мать, что, мне казалось, они не должны были ссориться, что у них все должно быть по-другому. Я с любопытством смотрел на их спины, удалявшиеся от меня. Но вот посреди аллеи Ника круто повернула и быстро пошла назад, ко мне. Отец сказал ей что-то вслед, повидимому, уговаривая, но она не слушала его, и он пошел один дальше.

Ника подошла ко мне сердитая и чем-то очень расстроенная.

— Я не буду играть,—сказала она резко.

— Почему?..

Я крайне удивился.

— Так... Не хочу.

Она села на скамейку против меня, болтая ногами, как капризный ребенок.

— Да почему? Что случилось?—недоумевал я.

Она насмешливо посмотрела мне в глаза и ничего не ответила. Потом встала и ушла на сцену, за занавес. Я тоже вскочил, чтобы пойти и с возмущением рассказать ребятам.

«Отказаться в последнюю минуту!.. Да кто же так делает?.. И я, дурак, полез с расспросами...»

И вдруг за занавесом послышался сумасшедший хохот Ники. Я перепугался: «Уж не истерика ли?»—и бросился на сцену. Но испуг мой сейчас же прошел, когда я увидел в руках у нее маску чудовища.

— Это ты в ней?.. А ну надень, надень!

Я надел и стал медленно наступать на Нику.

— Ой, как страшно! — вдруг вскрикнула она и убежала.

Странная девочка! В одну минуту столько перемен!

Солнце зашло, начинало темнеть, и к террасе стал сходиться народ. Все шумнее и теснее становилось на площадке перед сценой. Уж и мест не хватало.

— Начинайте, начинайте, ребята, — торопил нас Николай Андреевич.

Мы заволновались, заметались по сцене.

— А картошку-то! — вспомнил кто-то и во весь дух помчался к поварихе на кухню.

Все суетились, искали чего-то, торопили друг друга и мешали друг другу. Один Юрий Осипович спокойно прилаживал Симке мочальную бородку.

Стало уже совсем темно. Мы зажгли фонарики и лампы. Мягким светом осветились лица зрителей, дом, клумбы с яркими цветами, стволы и листья деревьев. Затрепетали тени, огромные, черные. Все преобразилось, все стало фантастичным и призрачным. И за всем этим была густая, таинственная чернота парка.

Мы сели посреди сцены, у костра — вокруг зажженного тошкиного красного фонаря, прикрытого хворостом. Прозвенел второй звонок. Открыли занавес. Спектакль начался.

Хорошо ли мы играли? Не знаю. Вероятно, плохо. Какие мы актеры? Но в домашних спектаклях есть какая-то своя особая прелесть, которой никогда не бывает в настоящих театрах. В чем ее суть, не могу об'яснить. Но она все смягчает и скрадывает, так что публика как бы и не замечает недостатков и все принимает с удовольствием.

Так было и тут. Да и не все у нас было плохо. Ника сначала с Мусей, а потом уже, сверх программы, одна протанцовала восточный танец так, что в публике поднялся страшный грохот и крик:

— Браво! Бис! Бис!

Ей долго аплодировали, все, кроме отца. Он сидел в последнем ряду, рядом с Николаем Андреевичем. Николай Андреевич что-то шептал ему на ухо, а он, сдвинув брови, кивал головой. Неподалеку от них, с краю, сидел Юрий Осипович и рисовал что-то, положив альбом на колени.

Маска моя тоже имела огромный успех. Когда я высунул из кустов свою нелепую кабанью морду, в первых рядах завизжа-

— О чем ты сейчас думаешь? — вдруг спросила Ника.

ли от страха, а в дальних, где сидели взрослые, раздался дружный смех.

А когда вышел Серафим в черном капоте нашей поварихи, подпоясанный широким ремнем, в соломенной шляпе Сергея Сеновалича, с мочальной бородкой и смешной косичкой жгутиком, публика уже, не смолкая, хохотала до конца спектакля.

Серафим играл лучше всех и так живо, что временами казалось, что на сцену к нам затесался настоящий, натуральный поп — смешной, голодный, глуповатый и жадный. Не ожидал я от него такой прыти. Впрочем, он умный, талантливый парень.

После спектакля гости наши заторопились на поезд. Мы проводили их, вернулись на притихшую, опустевшую террасу с потушенными фонариками и при свете керосиновой лампы, все еще взбудораженные, взволнованные, стали убирать декорации, стулья, скамейки.

Я носил стулья. И вот, когда я сошел с террасы в темноту, следом за мной стремительно выбежала Ника, схватила за руку и крикнула:

— Бежим!

И мы побежали во весь дух в темноте по аллее, добежали до конца и бросились, задыхаясь, на новую скамейку. Сердце стучало сильно, сильно. Кругом была тьма, только платье белело на Нике, да вверху над деревьями светилось небо и горели звезды. Издали доносились взволнованные голоса деревенских ребят, возвращавшихся домой. В овсах, за парком, кричал коростель.

Хорошо, хорошо кругом! И вот какая-то восторженность охватила меня. Все клокотало во мне, и мне хотелось говорить, говорить, излить всю свою душу. Но я не знал, с чего начать, да и боялся: сорвется с языка какая-нибудь глупость, она и решит, что я глуп, как пень. Ведь она еще не знает, какой я на самом-то деле, будет су-

дить по случайным словам моим, непременно высмеет и разговаривать больше не будет. А восторженность моя всегда меня подводила.

— О чем ты сейчас думаешь? — вдруг спросила Ника быстро, с явным намерением застать меня врасплох. — Только не выдумывай, а всю, всю правду говори.

Я не стал врать и все ей сказал.

— Ну, значит, ты умный,—решила она,— если боишься показаться глупым. Ведь это дураки только не боятся... Им всегда кажется, что они очень умны, а умным, наоборот, все кажется, что они дураки. И знаешь, я тоже часто, часто думаю, какая я глупая... Фу, как глупо вышло, как будто я сама себя умной считаю...

Она рассердилась и замолчала.

— Нет, нет, я понимаю, я все понимаю! — заговорил я.— Я знаю, что ты хочешь сказать.

— И всегда у меня так. Придумаю что-нибудь хорошее, хорошее, а заговорю — и все получается ужасно глупо. Я вот что хотела сказать... Ты, должно быть, очень самолюбивый. Ведь правда? Я тогда же догадалась, помнишь, когда мы стреляли и ты один ушел. А ты очень дружен с Серафимом?

— Очень! Знаешь, он какой...

— И вы никогда не ссоритесь?

— Нет, очень редко и то из-за пустяков.

— А я вот со всеми ссорюсь. Особенно с папой. Сегодня опять поссорилась. Как же, вдруг заявляет, что его, может быть, опять переведут. Как это тебе понравится? Его уже три раза переводили. Только подружусь с кем-нибудь, а он — уезжать. Ни за что не поеду! Одна останусь в Москве. Я так ему и сказала. А он засмеялся, я и ушла от него. Но это еще, может быть, так только. Он сам еще ничего не знает. И я уверена почему-то, что мы никуда не уедем.

И я был уверен, а сердце все-таки сжалось, заныло, и страшная грусть охватила меня на мгновенье и сейчас же прошла.

«Нет, нет! Этого быть не может!» — пронеслось в голове, и я успокоился.

— Пойдем, спать пора, — сказала Ника и встала.

Мы шли молча, и я думал, что Ника в чем-то старше меня: она больше меня видела, переезжала из города в город, встречалась, разлучалась, а я сидел на месте, под крылом родителей, и ничего со мной не случалось.

Когда мы подходили к террасе, я еще издали увидел Серафима. Все уже куда-то смылись. Он стоял один у стола с керосиновой лампой, злой, и пристально всматривался в темноту аллеи. Услышав шаги наши, он быстро сошел с террасы и стал убирать скамейки. Ника убежала через террасу в дом, в спальню, а я стал помогать Серафиму.

— А где же ребята? — спросил я.

И вдруг он ответил, не помню уже что, но зло, свысока, пренебрежительно, резко. Меня так и передернуло, и я с дрожью в голосе заметил ему, что он мог бы и не говорить со мной таким тоном.

— Я говорю так, как мне хочется. А нравится тебе или нет, меня это нисколько не интересует.

Он взял скамейку и поволок на террасу. Во мне все дрожало от негодования. Я только что так расхваливал его Нике. А он... Вот она дружба-то!.. Мне обидно стало чуть не до слез. А главное, я решительно не понимал, за что он так меня оскорбил? Если я убежал и ему одному пришлось таскать эти стулья, так это вздор! Не мог он так обозлиться из-за такой чепухи, тут было что-то другое. А что?.. Этого-то я и не понимал.

— Саша, Сима! Уже двенадцатый час, завтра уберете. Берите лампу и идите спать.

Это крикнул Константин Иванович, высунувшись из окна нашей комнаты.

Серафим взял лампу и пошел впереди. Я за ним — поодаль. Тошка уже спал, когда мы пришли к себе. И вот недавние друзья молча, как враги, разделись, потушили лампу и легли в постели.

Все, что было за день, всем скопом нахлынуло на меня, переплелись, перепутались огорчения и радости. Я пытался разобраться во всем этом и не мог.

Глава девятая

Утром встал, посмотрел в окно на скамейку в конце аллеи, вспомнил вчерашнее и почувствовал настоящее счастье. Я мог бы пойти на казнь с радостной песней, и никакие пытки не могли бы вырвать у меня из груди ни одного звука слабости.

Весь день я ходил, как в тумане, хотя с виду был совершенно спокоен: катался на лодке, играл в волейбол, разговаривал с ребятами. Никто не замечал моего счастья, а оно огнем горело у меня в груди до самого вечера.

А вечером я вдруг очнулся от счастья, как от сладкого сна, и ясно увидел, что все это вздор, что счастье-то мое решительно ни на чем не основано, что я вообразил, выдумал его, что это мечта одна, и вот она рассеялась. И я как с облаков упал.

И вот, когда я очнулся, мне и другое стало ясно. С Серафимом я не разговаривал весь день. Он меня не замечал, и я не замечал и не думал о нем: не до него мне было. А вечером я заметил, что с ним происходит что-то неладное. Он балагурит, старается казаться веселым, а ему совсем не весело. В парке, когда мы после ужина все сидели на траве под деревом, пели песни, дурачились, рассказывали всякие истории, я перехватил один его взгляд, и мне все стало ясно.

«Неужели и он? Ну, конечно, конечно! Да как же это я раньше-то не сообразил? Он и на Тошку тогда обозлился, и имя-то ему тогда постылым показалось... И, конечно, он вчера втайне рассчитывал на внимание... Он так играл! И уж если кто и достоин был внимания, так это он, конечно. А внимание-то и не было оказано. Даже наоборот. Вот он и кинулся на меня... Теперь все понятно».

И я уже не удивился, когда на другой день, после чая, он вдруг появился перед домом в соломенной шляпе Сергея Сеновалыча и с заплечным мешком в сопровождении группы ребят с сачками и папками для гербариев. Увидев Тошу с аппаратом, он встал в позу с каким-то бандитским, отчаянным видом и крикнул:

— А ну, Тошка, щелкни, сними Льва Толстого перед уходом из Ясной поляны!

Тошка сейчас же наставил на него аппарат и щелкнул. Симка снял шляпу и шутовски вежливо раскланялся с ним.

— Благодарю вас, маэстро! А теперь в путь, камарады!

И ушел с ребятами на весь день куда-то в лес ловить жучков и бабочек. Занятие мало для него подходящее, но ему хотелось, повидимому, скрыться с глаз долой и рассеяться.

Тут случилось новое происшествие. У Сергея Сеновалыча... Впрочем, пора об'яснить, почему я его так величаю.

По-настоящему-то его звали Сергеем Ивановичем. У него было какое-то странное пристрастие к сеновалу. Когда ни спросишь: «А где Сергей Иваныч?» — один ответ: «На сеновале». Или спит или сено убирает. «Куда идете, Сергей Иваныч?» «На сеновал». «Откуда, Сергей Иваныч?» «С сеновала». Так мы и прозвали его Сергей Сеновалычем. Он добродушнейший был человек и никогда не обижался.

У него был пес Полкан, чистокровная дворняга. Большой, лохматый и очень ласковый пес. Бывало, сидишь на скамейке в парке, он подойдет, положит морду на колени и смотрит, а в глазах и робость, и кротость, и благодарность, и умиление. Скажешь: «Полкан, ну как тебе не стыдно!» Он отвернется, опустит голову и не смотрит, как будто ему и в самом деле стыдно. Или растянется на лужайке перед домом и спит. Мы бегаем, кричим, он и внимания не обращает. Но только соберемся гулять, он сейчас же учует, вскочит и стоит, смотрит нам вслед, не знает, как поступить: бежать или не бежать, прогоним мы его или возьмем с собой? Крикнешь: «Полкан!» — он взвизгнет, заложит уши и начнет колесить вокруг нас во всю прыть, сделает круга два, подбежит, лизнет руку, потрется о колени и уже степенно бежит впереди — хвост крючком, уши торчком. Хороший был пес!

Дня за два до спектакля Сергей Сеновалыч ездил на своей пегой лошадке верст за семь в село за мясом, и Полкан увязался за ним. В селе, пока Сергей Сеновалыч справлял свои дела, Полкан свел компанию с сельскими псами, закутил, загулял и остался там, не вернулся домой. Пропал Полкан.

И вот, когда ушел Серафим, так через час примерно захотелось мне покататься на лодке. Я вышел из дому и вдруг смотрю: из-за правого крыла дома с бестолковым бабьим криком бежит жена Сергея Сеновалыча, хромает и рукой за коленку держится.

— Ой! Ой! Ой!

И прямо во флигель, к доктору.

Что такое? Уж не рассекла ли топором ногу?

А немного спустя из-за того же крыла появился Полкан, худой, потрепанный какой-то, шерсть клочками висит, хвост опущенный, изо рту слюна бежит и вроде как пенится.

Ника в это время стояла с ребятами у пруда. Она слышала крик и тоже с удивлением смотрела на жену Сергея Сеновалыча. Увидела Полкана и обрадовалась.

— Полкан! Полкан! Да где же это ты, дурак, пропадал?

Зовет, хлопает ладонью по колену, а Полкан не идет на зов, не видит, не слышит и как-то странно крутится на месте. Тогда Ника сама побежала к нему. И вот уже близко.

Я никогда не видел бешеных собак, но меня что-то так и толкнуло: «Да Полкан-то взбесился, должно быть». И ужас меня охватил. Вот он кинется на Нику сейчас и искусает и ее и всех ребят.

— Ника! Ника! Назад! — закричал я. — Он бешеный!

Она посмотрела на меня и остановилась, а Полкан тоже перестал кружиться и уставился на Нику.

Я бросился в комнату к Николаю Андреевичу, вбежал и вспомнил, что нет его, что он в колхоз ушел, а Константин Иванович с ребятами в парке. В углу винтовка стояла, схватил ее. Но что толку? Ведь она не заряжена. Я к столу, дернул ящик — не заперт. Сунул руку и нащупал в углу под бумагами коробочку с патронами. Как раз в это мгновенье во дворе послышался страшный звериный рык. Полкан бросился... на Нику, конечно.

Когда я выбежал из дому, я увидел такую картину: ребята, с ними и Ника, во весь дух удирают к мосту, за пруд. Направо, возле дома, стоит Сергей Сеновалыч и здоровенной дубиной отбивается от Полкана. А Полкан так и кидается на него, ощетинясь, и вот-вот схватит за горло.

Но вот Сергей Сеновалыч изловчился и крепко ударил его. Полкан отскочил и побежал прочь по направлению к мосту, где уже ревели от страха ребята. Я пустился ему наперерез. Сергей Сеновалыч закричал что-то диким голосом. Полкан остановился, повернулся и побежал прямо на меня. Он так и врезался мне в память в эту минуту. Морда в пене, глаза мутные, страшные.

Он был шагах в десяти от меня, когда я прицелился и выстрелил. Он вскинулся и, словно споткнувшись, ткнулся мордой в траву. Так и остался. Дернул ногой раз, другой и затих.

Я подбежал к нему. На лбу, чуть повыше левого глаза, сочилась кровью небольшая ранка. Теперь уже он не был страшен. И мне вдруг до слез стало жалко его.

Прибежали ребята, Сергей Сеновалыч, окружили Полкана. Всем было жалко. Я помню гневный-гневный взгляд Ники. Она топнула ногой и закричала на меня:

— Зачем, зачем ты убил его?! Как тебе не стыдно!..

— Да что тут стыдного-то? — недоумевал Сергей Сеновалыч, вытирая лоб рукавом: он весь вспотел, когда отбивался от Полкана.—Так ему и надо! Он жене-то моей всю коленку изгрыз. Что теперь делать? Вон доктор-то говорит в Москву теперь надо везти. А девчонка с кем останется?

У него была дочка, совсем еще крошка, лет двух.

— Это счастье, что он застрелил. А то бы он всех перекусал...

Но Ника не слушала его и твердила свое:

— Как тебе не стыдно! Как тебе не стыдно! Я никогда, никогда не прощу тебе этого!

Голос у нее дрожал и в глазах были слезы. Мне и самому хотелось плакать. Я отнес винтовку на место и ушел в поле, к кирпичному заводу.

Грустно мне было. Мне казалось: весь мир от меня отвернулся, и я никому уже ненужен. Серафим раздружился со мной. Ника тоже никогда не простит мне Полкана, и теперь я навеки потерял ее дружбу, а она только-только еще начиналась. И Полкан меня мучил. Он стоял перед глазами и укорял: «За что, за что ты меня?.. Ведь я хороший был пес».

Как мне хотелось тогда, чтоб рядом со мной сидел Серафим, такой, каким он был раньше! Он бы понял мои терзанья и успокоил меня. Но он ушел, он враг мой теперь. Какая нелепость! И я один, совершенно один.

Размышленья мои прервал звонок к обеду. Пришел я на террасу и с удивлением узнал, что я, оказывается, герой, что я спас ребят не без риска, потому что мог промахнуться, и тогда Полкан разорвал бы меня в клочья. На меня так и смотрели почтительно, как на героя. Даже Николай Андреевич ласково похлопал меня по плечу и сказал:

— А ведь хороший был и, право, рискованный выстрел. Молодец!

Одна Ника не признавала меня за героя и вовсе не смотрела на меня. Да и я, откровенно признаюсь, нисколько не чувствовал себя героем: что за доблесть в десяти шагах убить несчастное животное, которого к тому же мне было так жалко, что я все бы отдал, лишь бы не числился за мной этот подвиг?

Поздно вечером вернулись наши путешественники с жуками, с бабочками и с травами в папках. Им, конечно, тотчас же рассказали о необыкновенном происшествии. Серафим с любопытством посмотрел на меня и ничего не сказал, но во взгляде его было что-то хорошее, дружелюбное. Мне показалось, что он уже одумался и стал прежним Серафимом. Что-то понял, с чем-то примирился и успокоился. Шутовства и неловких потуг на веселье уже не было и следа, и я этому только порадовался.

Глава десятая

Жена Сергея Сеновалыча уехала в Москву, и наши девочки взяли шефство над ее толстощекой и забавной дочуркой Катей. В особенности Ника. Такой уж был нрав у нее: увлечется чем-нибудь и уж ничего другого не замечает и не видит. Она няньчилась с ней целыми днями: на руках носит, за ручку водит, кашкой кормит, спать укладывает, танцует с ней, из песка пышки делает и все разговаривает о чем-то. Кате, по-моему, никогда еще не было так весело, как в эти дни. Она привязалась к Нике. Увидит ее и тянет ручки к ней: «Ни... ни...» И ножками топ, топ.

— Ах, ты «Ни-ни» моя! — вскрикнет Ника, подхватит ее, зацелует и начнет дурачиться.

А на меня она все еще дулась, все еще не могла простить мне Полкана. Я не подходил к ней, и мы не разговаривали.

В эти дни я сдружился с Тошкой, ходил с ним всякие виды снимать, помогал пластинки проявлять в подвале. Мне хорошо с ним было. Он добрый был малый и все уговаривал меня помириться с Серафимом.

— Ну чего вы? Не понимаю... Честное слово! Если он не хочет первым, так ты подойди и скажи: «Э, ерунда это все, Серафим!» Вот и все. Не люблю, когда ссорятся. И что с вами такое случилось?

— Да ничего, Тошка. Я и сам не понимаю, отчего так вышло... Так... глупость!

— Ну я вас помирю, обязательно помирю.

Но ему это не удавалось: то я не хотел сделать то, что предлагал Тошка, то Серафим. Наконец, он и рукой махнул.

— Чудаки вы какие-то! Честное слово! Оба говорите, что непрочь помириться, а не миритесь. Ну и делайте, как хотите.

Когда мы делали что-нибудь сообща, мы почти всегда разговаривали с Серафимом, но это, так сказать, официально. А как кончалось дело, так мы расходились в разные стороны и уже больше не разговаривали. Ледок между нами таял, но медленно, очень медленно.

Как-то я проходил мимо пристройки, в которой жил Сергей Сеновалыч. Дверь была открыта настежь, и я видел, что там возле катиной кроватки сидят Муся и Ника и о чем-то разговаривают. Я сейчас же отвернулся и хотел пройти мимо. И вдруг из двери высунулась Муся и крикнула мне:

— Саша, поди-ка сюда!

И лицо у нее лукавое, лукавое. Щеки у меня так и запылали. Я это чувствовал. И неловко и стыдно мне стало чего-то. Но я пересилил себя и с напускным равнодушием спросил:

— Ну, что тебе нужно?

— Да иди, иди сюда, не бойся!..

И засмеялась. Я вошел. Ника сидела с каменным лицом и смотрела на меня взглядом, совершенно ничего не выражающим. Я ничего не понимал. Чего они хотят от меня? И вдруг они переглянулись, фыркнули обе и залились самым развеселым смехом. И я засмеялся, сам не зная, чему. Но мне вдруг легко и весело стало. Я видел, что я прощен и дружба моя с Никой восстанавливается.

— Да что это с вами?

— Ничего, ничего! А Ника на тебя больше не сердится, — об'явила Муся.

— Да и не за что было сердиться. Ведь мне самому было жалко.

— Жалко, а убил, — все-таки упрекнула меня Ника. — Хорошо, что ты не возомнил о себе, что ты и в самом деле герой, а то я никогда бы и ни за что не стала с тобой разговаривать. Ну, ладно! Довольно об этом. Знаешь, что мы с Мусей придумали? Сегодня вечером, когда все уснут, мы удерем из дому, знаешь, куда? В луга, куда ребята ездят в ночное. Они сегодня опять там будут. У них там весело: костер горит, сказки рассказывают. Я ведь никогда не бывала в ночном, и Муся тоже. Только слышала, а я все хочу видеть своими глазами. Но мы боимся одни. Пойдем с нами! Только, пожалуйста, не говори, что это нельзя, что могут узнать... Мы без тебя все это знаем. Говори: пойдешь или нет?

Я понимал, конечно, что зря они это придумали, но я обрадовался, что, наконец, помирился, что теперь мы вместе будем проказничать, махнул на все рукой и согласился.

— Только никому, никому не говори! У вас слышно наверху, как бьют часы?

— Конечно, слышно.

— Ну, вот и хорошо! Как пробьет двенадцать, так ты — в окно и в парк и жди у первой скамейки. Только не засни. А заснешь, так мы все равно одни уйдем.

Я дал слово, что никому не скажу, не засну и ровно в двенадцать часов буду в назначенном месте.

Проснулась Катя, розовая, пухленькая, с нежными золотистыми волосиками, села в кроватке и защебетала, как птичка:

— Ни-ни! Абаб...

Ника взяла ее на руки и весело закружилась по комнате.

Муся зажгла керосинку и поставила на нее кастрюлю с манной кашей. Мне уже нечего тут было делать, и я ушел.

По-моему, ничто так не соединяет людей, как общая тайна. Умом-то я еще не понимал тогда этого, а сердцем все-таки чувствовал, что вместе с тайной появилось что-то новое в наших отношениях с Никой, что я для нее уже не как все, что тайна замыкает, от'единяет нас от всех и сближает друг с другом. Я носил эту тайну в груди, радовался и с нетерпением ждал полночи.

Вечером, когда мы расходились спать, Ника и Муся многозначительно посмотрели на меня. Я кивнул головой, и мы все трое засмеялись.

— Чего вы? Чего вы? — залюбопытствовали ребята.

Но мы ничего не сказали и побежали спать.

Я разделся и лег. Через четверть часа все угомонились и стало тихо, тихо во всем доме. И в парке — ни шороха, ни шелеста.

Но вот Тошка замычал и что-то забормотал во сне. Я не люблю, когда бормочут во сне. Что-то жуткое есть в этом бессмысленном ночном бормотанье. Как будто не спящий это, а кто-то другой, сумасшедший, притаившийся в комнате, лепечет всю эту невнятицу. Нервы мои напряглись. От глубокой, полной тишины звенело в ушах.

— Бам!..

Я вздрогнул. Это часы внизу пробили половину одиннадцатого. Полтора часа еще ждать. Я лежал с открытыми глазами и был уверен, что ни за что не засну. Я думал о чем-то. Мысли, безвольные, ясные, неудержимо неслись одна за другой, как облака, как тени. И вдруг я ясно, ясно увидел перед собой отца Ники. Он почему-то был страшно злой и даже свирепый какой-то. Он наступал на меня, размахивал руками, топал ногами, кричал, бранил за что-то. Все лицо у него перекосилось от ярости. Я ждал уже: вот-вот он схватит меня за шиворот, приподнимет и шваркнет со всей силой о землю. И вдруг откуда-то выскочил Полкан и, вступаясь за меня, кинулся на него, как тогда на Сергея Сеновалыча, с каким-то странным, автоматически размеренным лаем:

— Ам! Ам! Ам!

Я очнулся.

— Бам! Бам! Бам! — били часы внизу.

«Да неужто я спал? Вот так—так! Хорошо, что не проспал. Но сколько же это: одиннадцать или двенадцать? Впрочем, все равно... Лучше уж там подожду, а то опять засну».

Я вскочил, оделся — и на подоконник. Задел стакан ногой. Он повалился на бок и звякнул, зарокотал ребрами, катаясь по блюдцу. Серафим зашевелился, проснулся, должно быть.

«А что, если и его позвать с собой?— подумал я. — Да нет, не пойдет он! Да и девочки просили никому не говорить».

Я постоял, подождал, когда он затихнет, заснет. Шурша ветками, спустился по тополю вниз и пошел потихоньку в черную, черную аллею к скамейке.

Там никого еще не было. Я сел и стал ждать. Через минуту, не больше, послышались шаги, шопот и еле сдерживаемый смех. Это Муся и Ника.

— Саша, ты здесь? Давно ты?.. А Муся, чудачка, струсила и не захотела идти.

— Да-а, темно-то как...

— Ну теперь уж рассвет скоро, — сказал я, чтоб успокоить Мусю. — Ночи-то короткие стали.

— Так идемте скорее, — заторопила нас Ника. — А то придем к рассвету... Что же это за ночное?

Мы пошли. Ночь была темная. В двух шагах уже ничего не было видно. И все спало кругом, притаилось, притихло. Муся трусила, вцепилась в меня за рукав и серьезно уговаривала не идти дальше, вернуться назад. Мы с Никой подсмеивались над ней и шли дальше. Прошли парк и стали спускаться в овраг.

Узкая, неровная, извилистая тропинка круто шла вниз в сплошных зарослях. Стало совсем темно, так что пришлось идти ощупью. Под ноги попадались то какие-то выступы, то ямы, которых я днем никогда не замечал. Тут уже и Ника вцепилась в другой мой рукав. Так мы и шли, как слепые, спотыкаясь, натыкаясь на деревья, куда-то вниз, как в пропасть.

Но вот и ручей. Мы перепрыгнули через него, ползком взобрались на горку и вышли к кирпичному заводу, в поле. Здесь было уже гораздо светлее и веселее, тут хоть что-то можно было различить и увидеть: завод, овсы, деревья. И множество звезд горело над нами.

— Если б я знала, ни за что, ни за что не пошла бы я с вами! — раскаивалась Муся. — Да вот, как накроют нас...

— Ну и пусть накроют! — не унывала

...Мы подходили к дымному костру.

Ника. — Ничего нам не сделают. Зато как интересно!..

Теперь мы шли быстро по мокрой меже мимо сонных овсов. Через четверть часа мы уже были в лугах и подходили к дымному, затухающему костру. У костра сидел тот самый таинственный паренек, который перед спектаклем притащил мне череп и стругал перочинным ножом палку. Неподалеку от него, накрывшись пиджаками, спали еще два паренька. Направо выступали из тьмы две старых ветлы и кустарник на

краю речки, налево паслись спутанные кони. Шаги наши услышала пушистая белая собачонка, лежавшая рядом со знакомым мне пареньком, подняла морду, навострила уши и зарычала.

— Цыц ты! — прикрикнул паренек и придержал ее рукой, чтоб она не кинулась на нас, а сам всматривался в темноту, кто же это идет.

— А, да это вон кто! Федька, Сережка, вставайте! Гости пришли!

Те скинули с себя пиджаки, сели и заспанными глазами уставились на нас, ничего не понимая.

— Что же у вас костер-то плохо горит? — спросила Ника.

— Сейчас наладим...

Пареньки зашевелились, натаскали из кустов валежника, наломали, навалили в костер целую гору. Костер затрещал, задымился. Пробиваясь снизу, запрыгало пламя и вдруг все охватило и встало столбом, освещая все вокруг. Мы сели у костра, сняли с себя мокрые чулки и ботинки, разложили сушить, и тут у нас начались разговоры.

Один паренек, Федька, оказался страшным балагуром. Он так и сыпал историю за историей, чрезвычайно смешные и все про какого-то кулака Ивана Севастьяныча, который говорил каким-то особым своим языком и до того был жаден и завистлив, что ничего не мог видеть в руках у других, чтоб сейчас же не выманить или не обменяться с выгодой для себя.

— А ну, возвествуй, сударыня-барыня,— говорит этот Иван Севастьяныч, величая «сударыней-барыней» какую-нибудь старуху-нищенку, — что это у тебя в кулаке-то зажато?

— Да копейка, батюшка, вот подали, дай им здоровья...

— Копейка? А-а!.. Да никак новая? — и сейчас же сменяет на потертую, с дыркой.

Но дело не в истории, а в том, как он все это рассказывал. А рассказывал он так смешно, что мы уже и смотреть на него не могли равнодушно. Хохотали все до слез, до боли в боку, чтобы он ни сказал, особенно это слово «возвествуй». Один он не смеялся, только глазами живо поблескивал, и не поймешь: то ли он правду рассказывал, то ли сам все выдумывал.

Мы и не заметили, как посветлело вокруг, как порозовели облака и туман над лугом и речкой. Костер догорел, и прохладно стало. Я посмотрел на Нику, на Мусю. Лица у них не такие, как всегда, чуточку осунувшиеся, но очень веселые. Мы распрощались с ночными приятелями, взяли чулки и туфли и босиком побежали домой, оставляя за собой темные дорожки на матовом от росы лугу.

— Еще приходите! — кричал Федька вслед. — Про попадью расскажу...

Солнце встало, и все уже сверкало на солнце: окна, клумбы, деревья, омытые росой, — когда мы подошли к дому. Окно рядом с террасой было открыто настежь. Мы влезли в него: сначала — Муся с Никой, потом — я. Когда я взобрался на подоконник и только ноги мои торчали из окна, где-то рядом звякнуло, раскрываясь, другое окно. Кто-то проснулся и, может быть, видел нас. Девочки быстро шмыгнули к себе в спальню, а я — к себе наверх.

К удивлению моему, Серафим не спал, когда я вошел. Он лежал, заложив руки под голову, и пристально смотрел на меня. Мне почему-то неловко стало от его неподвижного взгляда. И я вдруг улыбнулся виноватой, глупой улыбкой. А он закрыл глаза и повернулся на бок к стене.

В то же время на лестнице послышались чьи-то шаги. Я мгновенно лег и притворился спящим. Кто-то подошел к двери и остановился. Я чуть-чуть приоткрыл один глаз и с ужасом увидел Николая Андреевича. Он посмотрел на меня, на Симу, взглянул в другие спальни и ушел.

«Ну, влопались!» — подумал я и сейчас же заснул крепко, крепко.

Глава одиннадцатая

Тошка еле растолкал меня утром:

— Вставай! Вставай! Вот соня!.. Сейчас на линейку!..

«На линейку? Почему на линейку?» — силился понять я, сидя в кровати. Я не выспался, глаза резало, как будто в них песок попал.

— Но ведь линейка-то вечером...

— Да нет, сейчас... Константин Иваныч сказал.

Тут я сообразил, наконец, что это, вероятно, из-за нас такая экстренность. Ну что же, нашкодили, будем отвечать.

— А ты чего же? Вставай! — тормошил Тошка Серафима.

— Отстань, Тошка! Не пойду я на линейку. И это тебя не касается, — вяло, как бы отмахиваясь от Тошки, сказал Серафим.

Глаза у него блестели, и весь он был какой-то странный.

— Да что с тобой?.. Да у тебя жар никак?.. Я доктора сейчас...

— Не смей, Тошка! Слышишь?

Но встревоженный Тошка и слушать не стал и побежал за доктором.

И я забеспокоился, но Серафим на меня ни разу не посмотрел, и я понял, что лезть к нему с расспросами совершенно бессмысленно: он ничего мне не скажет, да и разговаривать-то со мной не станет.

Я пошел умываться. А когда вернулся, у кровати Серафима стоял доктор в белом халате и держал в руках термометр.

— Странно, температуры нет, — говорил он.

— Да я же говорю, доктор, у меня ничего не болит.

— А спал хорошо?

Серафим замялся. Ему почему-то хотелось солгать, но он терпеть не мог лжи и сказал:

— Нет... Всю ночь не спал.

— Что ж так?

— Не знаю. Не спалось...

Доктор подозрительно посмотрел на него.

— А тебе хочется встать?

— Нет, мне хочется лежать, — откровенно признался Серафим и улыбнулся чему-то.

Мне показалось, что он издевается над доктором, над его подозрительностью. Доктор опять как-то странно посмотрел на него и сказал:

— Ну хорошо, полежи. Я зайду к тебе потом.

И ушел.

Серафим сразу повеселел. Взял книгу со стола и стал читать. А мы с Тошкой побежали на линейку. Становясь в строй, я взглянул мельком на Мусю и Нику. Они тоже не выспались, но лица у них были веселые, лукавые. И мне стало весело, хоть я и ждал нагоняя.

На трибуну взошел Николай Андреевич, скомандовал поднять флаг. И вот, после того как флаг был поднят и нам об'явили, чем мы будем заниматься в этот день, Николай Андреевич сказал:

— Ребята, прошлой ночью кто-то из вас — двое или трое, — вместо того чтобы спать, вылез в окно, бродил неизвестно где и вернулся только на рассвете.

Никто этого не подозревал, и все страшно удивились, кроме нас троих, конечно.

— Я не знаю, кто это...

— Это мы! Я, Муся и Саша, — вдруг весело крикнула Ника.

— Вы-ы? — удивился Николай Андреевич.

— Да! Мы ходили в ночное, в луга, к ребятам.

— Да как же это вы?.. Как же вы без спроса-то?..

— А зачем же спрашиваться? Ведь вы же все равно не разрешили бы? Ведь правда?— наивно, по-детски сказала Ника.

— Конечно, не разрешил бы. Но я об'яснил бы вам, если вы не понимаете, почему нельзя нарушать дисциплину и одним тайком уходить куда-то в ночь. Вы сами не пошли бы.

— Но мы, честное слово, ничего плохого не делали; сидели у костра...

— Верю, что ничего плохого не было. Но вы сделали это тайком, значит, понимали же вы, что этого делать нельзя. И не за этим же вы сюда приехали. Что ж это за отдых, если все будут вести себя так? Кроме того вы могли простудиться, да мало ли что могло случиться! И за все это мне отвечать. Вы меня подводите, а это уже нехорошо, не по-товарищески.

«Фу, чорт! — подумал я. — Ведь и в самом деле... Как это мне и в голову не пришло?»

Мне стало досадно да и стыдно, потому что кого-кого, а уж Николая-то Андреевича я не хотел бы подводить.

— Вот приедут родители, спросят: «Ну, как у вас в лагере?» Они доверили мне ваше воспитание. Я должен перед ними отчитаться. И что же я им скажу? Всю правду, конечно, скажу. А они что скажут? «Значит, вы, Николай Андреевич, плохой воспитатель, если ребята в грош вас не ставят и не считаются с вами».

— Это неправда! — с горячностью крикнула Ника. — Мы вовсе не потому...

— Мы вас все уважаем! — закричал и я. — И даю вам слово... Это по глупости... И никогда этого больше не будет!

И Муся залепетала: «Извините, больше не буду!» — так чистосердечно и так смешно, что ребята засмеялись, и Николай Андреевич улыбнулся и простил нас на первый раз, с предупреждением, конечно.

Линейка кончилась. Мы побежали пить чай.

За столом я, к удивлению своему, увидел Серафима. Он сидел веселый и бодрый, как будто с ним ничего не случилось. Странно!.. Что же это значит?

— А ты почему на линейке не был? — вдруг строго спросил его Константин Иванович. — Сказали: ты болен, лежишь... А ты... Что ж это за притворство?..

Серафим передернулся весь, помрачнел и ответил страшно резко:

— Никакого притворства! И никому я не говорил, что я болен. Доктор разрешил лежать — я лежал, разрешил встать — я и встал.

— Хорошо, я это проверю, — с какой-то угрозой сказал Константин Иванович и отошел от него.

— Сделайте ваше одолжение, —зло пробормотал Серафим себе под нос.

Веселость его прошла. Он хмурый пил чай, ни на кого не смотрел и ни с кем не разговаривал. Я искоса посматривал на него и недоумевал: «Да что же это с ним?..»

Уже потом, недели две спустя, он рассказал мне, что происходило с ним в то утро. Когда я ночью звякнул стаканом, он действительно проснулся, видел, как я спустился по тополю и удрал. Он сейчас же почему-то догадался, что я это сделал по уговору с Никой и с Мусей, наверное. Я ушел, а он уже не мог заснуть, лежал и все думал. А когда я вернулся и следом за мной пришел Николай Андреевич, тут уже нетрудно было догадаться, что утром будет линейка. Он решил почему-то, что на линейке мы непременно будем отпираться, пользуясь тем, что Николай Андреевич все-таки не знал, кто путешествовал ночью. Если б он знал, ему незачем было бы приходить к нам наверх. А Серафим все знал, и лгать он не мог, не умел.

Если бы он вышел на линейку и мы стали бы упорствовать и не признаваться, то он не мог бы не сказать и сказал бы. В другое время он это и сделал бы с легким сердцем и еще сам задал бы мне нахлобучку, но тут припуталось одно щекотливое обстоятельство, и он не хотел, не мог этого сделать, потому что могли подумать, что он это делает не по долгу, не с чистым сердцем, а из чувства мести, чтобы мне насолить. Вот он и решил не вставать, не идти на линейку, что бы там ни было.

Все, что говорилось на линейке, он слышал и очень обрадовался, когда мы признались во всем. Лежать в постели уже было глупо, да и незачем. Он оделся, и сам побежал к доктору, и сказал ему все напрямик: что он совершенно здоров, что не вставал, потому что ему не хотелось идти на линейку, а почему, этого он не может сказать, так надо было, а теперь ему надоело лежать. Доктор посмотрел на него, улыбнулся и сказал:

— Ну, хорошо, скажи, что я разрешил тебе встать.

Он и повеселел, а Константин Иванович снова поверг его в мрачность.

После чая пришли колхозные пионеры, и мы вместе с ними всем отрядом пошли в лес за ягодами. Колхозники завели нас далеко на порубку, где на большом пространстве торчали одни пни и рос мелкий кустарник. Тут было много земляники, особенно около пней. Сначала я очень ретиво, с азартом собирал красные душистые ягоды, а потом меня разморило, мучительно захотелось спать. Я сел на пень, в тени под кустом, и смотрел на ребят, ползавших на корточках по всей поляне.

Серафим все еще был хмур, держался в стороне. Что-то терзало его и мучило.

Как мне хотелось подойти к нему в эту минуту, взять за руку и сказать: «Серафим, да что ж это за вздор такой? Ведь мы же с тобой не Иван Иваныч с Иваном Никифоровичем. Все это глупость, мелочь! Давай об'яснимся по душам, начистоту. Нельзя же так! И не хочу я так!..»

Но он не смотрел на меня, и я не чувствовал в себе достаточно сил, чтоб встать и разорвать всю эту противную, липкую, обволакивающую нас паутину.

Вот он случайно столкнулся возле куста с Никой. Ника заговорила с ним о чем-то. Он еще больше нахмурился. Я ждал: сейчас он ей скажет что-нибудь резкое, злое, насмешливое, и они поссорятся. Но я ошибся: Серафим вдруг весь просиял. Все лицо его осветилось прекрасной улыбкой, которую я так любил всегда. Долго они разговаривали. Потом Ника вдруг схватила его за руку и потащила ко мне:

— Ну что вы?.. Какие вы глупые!..

Я с радостью протянул Серафиму руку. Мы помирились, но примирение было какое-то формальное; настоящей, прежней дружбы все-таки не было.

Глава двенадцатая

Николай Андреевич уехал в Москву, и там его на несколько дней уложила в постель та самая болезнь, о которой я говорил уже раньше. С нами остался Константин Иванович, и все у нас пошло по-другому. С виду-то как будто все было попрежнему: мы вовремя вставали, вовремя обедали и ужинали. Константин Иванович был с нами строже, пожалуй, чем при Николае Андреевиче, а все-таки что-то разладилось.

Ребята держали себя как-то вольнее, развязнее. Они заметили, конечно, мою привязанность к Нике и стали посмеиваться надо мной, над Никой.

Начал это Валька Аджемов, о котором я уже не раз упоминал. Это был красивый парень, лет пятнадцати, блондин, похожий на девочку, малодушный, хвастливый и чрезвычайно самоуверенный. Он любил принимать красивые позы, красивым жестом откидывать со лба назад свои русые волосы, хмурить брови и прикидываться очень умным человеком.

Ника сначала было подружилась с ним, и он был очень доволен, а потом она вдруг взяла его назубок и перевела в женский род.

— Ах, какая ты, Валя! Ну чего же ты сердишься? Разве плохо быть девочкой? Смешная ты, Валя!

Валька страшно обозлился и перестал с ней разговаривать.

Вот он-то первый и бросил нам вслед глупую, недостойную пошлость насчет жениха и невесты. Сказал он это небрежно, сквозь зубы, так что мы и не слышали, но слышали Серафим и многие ребята. Серафим так и вскинулся (это мне Тошка после рассказывал), наскочил на Вальку и отчитал со всей резкостью.

— Да ты кто: пионер или старая сплетница? И неужели тебя не тошнит от всей этой дряни?..

Отчитал, но словцо-то уж было брошено. Ребята подхватили его и «пошла писать губерния»,—как сказано у Гоголя. Тут отчасти был виноват и Константин Иванович. Он, правда, и виду не показывал, но все-таки следил за нами, словно боялся чего-то. Ребята и это заметили и совсем уже распустили свои языки.

А Ника уже нарочно, назло всем стала со мной как-то особенно внимательна. Подойдет и сядет рядом со мной и насмешливо посматривает на ребят или за руку возьмет и уведет в аллею гулять. Идем, а она молчит, нервничает. Видно, все это ей чрезвычайно неприятно. И я уже боялся, как бы она, в конце концов, не возненавидела меня за все это.

Тяжелые это были дни!

Константин Иванович растерялся, не знал, что и делать. И вот однажды, совсем неожиданно, не в урочное время, не в родительский день, приехал отец Ники.

Это было после вечернего чая. Вышел я из дому, смотрю: он с Серафимом под руку гуляет у пруда. Ника не знала еще, что он приехал, и ее тут не было. Я сразу же почувствовал: не зря он приехал. Вспомнил сон свой, как он топал и кричал на меня и хотел шваркнуть об землю, и подумал со злостью: «Пусть, пусть, я сумею ему ответить!..»

Я и обозлился и струсил чего-то. Неприятно мне было! Дойдет эта история до моих родителей — и упреков, разговоров будет на сто лет! А главное, мне было обидно. Из-за чего сыр-бор-то загорается? Ведь ничего, ничего же плохого-то не было!

Вот они повернули от пруда и шли теперь прямо ко мне. Я нарочно стоял на виду, на лестнице, и ждал: не хотел скрываться. Они подошли, и я с удивлением увидел, что оба они веселые и разговаривают совсем не о том, о чем я думал. У меня отлегло от сердца. Я поздоровался.

— А где Ника? — спросил отец.

— Не знаю. Позвать ее?

— Нет, не надо. Пойдем в парк, может быть, она там.

Он взял меня под руку. Серафим остался, а мы пошли.

Он не торопился отыскивать Нику, шел медленно, здороваясь с ребятами, встречавшимися нам по дороге.

Когда мы дошли до конца аллеи, до скамейки, где никого не было, он предложил посидеть немного. Мы сели. Я насторожился.

«Ну, сейчас, сейчас начнется!» — подумал я.

И знакомое, тягостное, столько раз испытанное во время об'яснений с родителями чувство раздражения, негодования, обиды и злости охватило меня. Я приготовился отвечать ему резко, дерзко.

Он закурил и начал, но таким тоном, какого я никак не ожидал:

— Ты извини меня, Саша, что я вторгаюсь в твои дела. Я не люблю хитрить и начну прямо. Я получил письмо от Константина Ивановича... Николая-то Андреевича он не хотел беспокоить и хорошо сделал. Он обо всем написал... Преувеличил, конечно... Я не виню его. Ведь он сам еще мальчик, неопытный... И это даже лучше, что он написал-то. Вот я и приехал... Не думай, что я хочу читать какие-то нотации. Нет! Да и не за что... Я просто хочу поговорить с тобой. Я знаю твое отношение к Ане.

— К какой Ане? — удивился я.

— Ну, к Нике... — он улыбнулся. — Ее зовут-то ведь Анной, а Нику-то она сама себе выдумала. У нее много всяких фантазий.

— Да что вы?

Я был поражен. Я чувствовал, что это внезапное открытие как-то меняет мое представление о Нике.

Ведь вот как будто и все равно, как зовут человека: Дарьей или Марьей, — а оказывается, не все равно. При слове «Ника» мне всегда представлялось что-то стремительное, разящее, острое. Я привык уже к этому. И вдруг «Аня» — что-то спокойное, мягкое, доброе.

«Ника-то к ней больше подходит, — подумал я. — Но многое в ней и от Ани. Как она Катю-то няньчила!..»

— Серафим мне все сейчас рассказал,— продолжал он. — Это — хорошее, прекрасное чувство! Жаль, что об этом никогда не говорят с вами. Все стыдятся чего-то, слов не находят... А чувства надо воспитывать. Этого-то и не делают и предоставляют вам самим. Вы и воспитываетесь тайком, самоучкой, под влиянием книг, часто противных и пошлых, под влиянием людей, тоже не всегда ведь хороших.

А главное, все прячут эти чувства, стыдятся их, как слабости, как чего-то, недостойного человека. Боишься признаться даже самому близкому другу и столько грубости и глупости напускаешь на себя, чтоб скрыть это все!..

Он бросил потухшую папироску и закурил другую.

— А чего стыдиться, если чувство твое бескорыстно и чисто? Любить — ведь это значит отдавать другому все самое лучшее, что есть в тебе. Да и не любовь — самое главное в жизни. Быть человеком — важнее и выше всякой любви... Вот я расскажу тебе такой случай.

В 1919 году в Сибири поздно вечером приезжает к нам, в штаб фронта, человек лет тридцати, с русой бородкой, в шляпе, и говорит, что он коммунист и хочет под видом графа пробраться в тыл к Колчаку с чрезвычайно важным заданием. Документы показывает, все честь-честью.

— Хорошо, — говорит комиссар, — денька через два переправим.

А сам навел справки, что это за человек и действительно ли партия посылает его в тыл к Колчаку. Уж очень вид-то у него и в самом деле был графский. Оказалось, все так, как он говорил. Стало быть, надо переправлять и так это дело обделать, чтобы у колчаковцев и подозрений никаких не возникло. Дело нелегкое!

— Знаете, что, — говорит «граф», — мне бы с семьей туда, с женой, по крайней мере. По паспорту-то я ведь женат, у меня и ребенок есть. С женой-то уже никаких подозрений бы не было...

А где ему взять жену? Во-первых, она должна быть надежной коммунисткой, во-вторых, и внешность у нее должна быть подходящая и манеры... Ведь все-таки «графиня»... Думали, думали...

— Хорошо, — говорит комиссар, — постараюсь достать.

Был у нас один командир, большой мой приятель, коммунист, молодой еще человек. У него жена была тоже коммунистка, очаровательная женщина и большая умница. Когда-то она в женской гимназии учительницей была.

И вот вечером комиссар призывает к себе этого командира и говорит: так и так, «графу» нужна жена. Дело это очень ответственное, и мы могли бы поручить его только Тане. (А Таня была жена этого командира.) К тому же она и по внешности подходит к роли графини. Что ты скажешь на это?

А тот:

— Когда они едут?

Спросил и страшно побледнел.

— Да нынче в ночь надо бы...

— Хорошо, я поговорю с ней.

И ушел.

В ту же ночь — ночь была темная, в двух шагах ничего не видать — с фонарями вышли мы провожать «графа» с «графиней». У крыльца лошади верховые стояли. Командир обнял в последний раз свою Таню, помог ей сесть в седло, и она уехала с «графом» в ночь.

Страшная это была минута! Когда в театре разыгрываются такие истории, публика ревмя-ревет. А тут не театр, а жизнь, настоящая жизнь! Тут на глазах у тебя сердце в груди разрывается — и у кого? У товарища, у близкого товарища!.. Я думал, он зарыдает или бросится следом за ними. Нет! Он стоял и молчал, только фонарь в руке вздрагивал. И вдруг сказал совершенно спокойно:

— Пойдем, проверим посты. Есть у тебя папиросы?..

Закурили и пошли. Всю ночь мы не ходили, а чуть ли не бегом бегали от поста к посту. Это сгоряча, конечно. В нем все кипело и какая-то страшная энергия искала выхода. У слабых людей эта энергия разрешается слезами, бурными рыданиями. Да и он-то, по правде сказать, не из очень уж сильных был, но события-то эти так напряг-

ли его силы, что он уже в богатыря какого-то превратился. Это бывает.

Вернулись мы уже на рассвете. Он ушел к себе в избу, и мы целые сутки его не видали. Что он там делал, о чем он там думал?.. А потом вышел осунувшийся, — вероятно, не спал и не ел ничего, — но спокойный, по-настоящему спокойный и сам заговорил о Тане так, как будто с тех пор, как она уехала, не день прошел, а, по крайней мере, лет двадцать.

— А Таня-то вернулась к нему потом? — спросил я.

— Нет. В тылу у Колчака они с «графом» сделали огромное дело, но Таню-то потом поймали, и она погибла: расстреляли ее. Трагическая история!.. Но вот что я думаю. А что если командир-то сказал бы тогда: «А плевать мне на вашу революцию и на все ваше благо народное! Не хочу я жертвовать своим счастьем!» Ведь мог бы... И как ты думаешь: лучше бы он поступил? Можно было бы почувствовать к нему какое-то особенное уважение, как к человеку необыкновенному? Да я, вероятно, и рассказывать-то про него не стал бы. А сейчас рассказал, потому что он человек, замечательный человек. А быть человеком — главное, это выше всякого счастья.

Он замолчал и задумался. Рассказ взволновал меня. Я никогда не думал, что могут быть такие люди, такие отношения между людьми. «Быть человеком...» — эта мысль особенно поразила меня. И вдруг меня осенила догадка.

— А я знаю, кто это был! — сказал я. — Это Николай Андреевич!

Он как-то странно посмотрел на меня и улыбнулся.

— Почему ты так думаешь?.. Николай Андреевич — замечательный человек! О нем многое можно было бы рассказать... Но где же Аня? — вдруг заторопился он, посмотрев на часы. — Мне уже на поезд пора.

Он встал. Мы пошли к дому. Вдруг из-за кустов выскочил Тошка.

— Стойте, стойте! — закричал он. — Я давно хотел вас снять... У вас такая наружность...

Это было так неожиданно и так смешно, что мы оба засмеялись.

— Ну хорошо, сними нас с Сашей, — сказал отец Ники.

Он обнял меня за плечи. Тошка наставил свой треножник, накрылся платком, вставил касету и окинул нас вдохновенным взглядом:

— Так!..

— Не улыбайтесь!.. Ни за что, ни за что не улыбайтесь! — послышался за нами крик и топот быстрых ног. Это Ника подбежала и бросилась в об'ятия к отцу. Следом за ней подошел Серафим.

— Где же ты был?.. Я тебя искала, искала... Какой ты!.. А ты, Тошка, надоел со своим «улыбайтесь». Я сама их поставлю. Сима, Сима, и ты становись!

И затормошила нас, ставила и так и сяк, и все ей не нравилось. Наконец, заявила, что нас нельзя нынче снимать, потому что у нас очень глупые лица.

Отец рассмеялся.

— Иди к нам, — сказал он Нике. — И пусть этот молодой человек снимет нас такими, какие мы есть, без всяких затей. Глупые, так глупые... Это даже веселее.

И вот мы встали вчетвером. Тошка щелкнул затвором и побежал в подвал проявлять. А мы с Серафимом и с Никой пошли провожать отца на станцию.

Ребята все это видели, и это их озадачило. Они как будто не того ожидали от отца Ники. Впрочем, и я не того от него ожидал.

По дороге мы неожиданно встретили Николая Андреевича. Он выздоровел, наконец, и, чуть похудевший и бледный, возвращался к нам в лагерь. Мы все так и бросились к нему. И он нам обрадовался.

— А ты чего здесь? — с беспокойством спросил он отца Ники.

— Да так... вздор! Они тебе расскажут... А я спешу. До свиданья!

Простился и ушел. А мы с Николаем Андреевичем пошли в лагерь.

— Ну, рассказывайте: что тут у вас?..

— Да ничего, Николай Андреевич. Все по-старому, — сказал я совершенно искренно.

Мне хорошо и весело было, как прежде. А насмешки ребят?.. Да стоит ли о них теперь говорить? Было и было. И все это мелочь!

Но Серафим рассказал ему с возмущением. Он выслушал и ничего не сказал, как будто и не придал этому никакого значения.

А вечером, после ужина, я заметил, что он все время чего-то крутится среди ребят: то с одним посидит на скамейке, то с другим погуляет по парку и все о чем-то разговаривает.

Не знаю, разговоры ли это так подействовали или появление отца Ники в лагере, то, как он со мной обошелся, или все это вместе, не знаю, но только насмешки сразу же кончились. Всю эту шелуху, как ветром, сдунуло, и все пошло попрежнему.

Глава тринадцатая

Впрочем, нет, не попрежнему, лучше, гораздо лучше! Наступили мирные, самые счастливые дни. И ничто уже не омрачало мою дружбу с Никой.

Тревоги, волненья — все это отлетело куда-то и сменилось полным спокойствием.

Все эти дни Серафим, Ника, Муся, Тошка и я ходили табуном и почти не разлучались. Нас всех охватила какая-то жажда деятельности. Мы горячо взялись за кружки и многое сделали: сдали нормы на ворошиловского стрелка, на значок «БГТО», исходили все окрестности, перечитали вслух в парке множество книг и наговорились на сто лет. Да и пора уж было взяться за ум: ведь скоро и закрытие лагеря.

Серафим переменился, повзрослел как будто, держался просто и ровно и со мной и с Никой. Он уже не чувствовал ко мне ни вражды, ни особой любви. Отношения наши были какие-то осенние: светлые, но прохладные.

Жалко мне было нашей прежней, горячей дружбы. Но я верил, что она непременно вернется и даже крепче будет, и ждал этого с нетерпением.

Оставалось всего пять дней до закрытия лагеря. И вот в пятый день до конца, перед ужином, я возился с лодкой у пруда. Она протекала в двух местах. Я забивал пазы паклей и замазывал варом. Мне хотелось сделать как следует, а потом пригласить всю свою компанию покататься до ужина.

Вдруг смотрю: идет Ника, сердитая, подошла и строго так:

— Ты зачем сказал, что меня Аней зовут?

— А что ж тут такого?..

— А я не хочу!.. И незачем было говорить...

— Слушай... Да ведь это же вздор! И сердиться-то не за что.

— Сама знаю, что вздор... А все-таки буду, буду сердиться.

Повернулась и ушла. Вот чудачка! Рассердилась она не на шутку, и это меня очень огорчило. Теперь уже и с лодкой незачем было возиться. Теперь она уже не только кататься, но и разговаривать-то со мной не станет. Как глупо! Ссориться из-за такой чепухи... И сама же это отлично понимает и все-таки... Ну, если она уже так «дорожит» моей дружбой, ну и не надо... Могу и устраниться.

Разогорчился, разобиделся, бросил лодку, зашел в комнату, взял книгу и ушел в конец парка. Там я лег за кусты так, чтобы никто не мог меня видеть, и стал читать. Я знал, что она скоро одумается, застыдится своего поступка, и даже втайне надеялся, что она будет искать меня, чтобы загладить вину свою. Так уже было однажды.

Я пролежал около часу, смотрел в книгу, перевертывал страницы, как будто читал, но ничего не понимал, потому что думал совсем о другом.

Вдруг послышались шаги, торопливые, быстрые. Я посмотрел, мне-то сквозь кусты все было видно: Муся и Ника, обе взволнованные, расстроенные. Прошли и остановились шагах в пяти от меня, осмотрелись кругом.

— Где же он? Где же он?.. — лепетала Ника.

— Саша-а-а! — звонко крикнула Муся.

Меня, меня ищут! Я торжествовал. Мне захотелось помучить их, и я притаился.

«Пусть, пусть поищет... В другой раз не будет...»

Никогда не прощу себе этой мстительной дури!

Они постояли, подождали, никто не откликнулся на зов.

— Э-э, не надо, не надо!.. — вдруг нетерпеливо, с обидой и даже с отчаянием сказала Ника и побежала к дому.

Она только мелькнула передо мной, но я видел и отлично запомнил лицо ее в эту минуту. Из горящих глаз ее катились крупные слезы.

«Странно... Что же это значит?..»

Я ничего не понимал.

«Если она хотела со мной помириться, так не так бы... Тут что-то другое, серьезное... Но что?..»

Я понимал только одно, что я глупо сделал, что не откликнулся, и если они обнаружат меня в этой засаде, то я уже окажусь настоящей свиньей перед ними.

Я поскорее выбрался из кустов и тайком ушел через овраг в поле.

Все это до того взволновало меня, что у меня даже ноги дрожали. Чтобы успокоиться, я долго колесил по полю и вернулся домой, когда все уже сидели за столом на террасе и ужинали. Все были какие-то задумчивые, а у Муси даже глаза заплаканные. Что-то случилось...

Я сел за стол, оглядывая всех и стараясь понять, что же случилось.

Стул Ники был пуст. Я ждал: вот-вот она войдет — и готовился к этой встрече. Но время шло, а ее все не было.

Муся и Ника прошли и остановились шагах в пяти от меня.

— А где же Ника? — спросил я.

— Как где? Она уехала, — сказал Серафим и с удивлением посмотрел на меня.

— Как уехала?! Куда?..

— Да что ты!.. Или ничего не знаешь? Да где ты был-то?..

— Мы искали, искали тебя, — начала было Муся, но голос у нее задрожал, оборвался.

Она бросила вилку на стол и убежала в спальню.

— Отец приезжал... Перевели его... Ночью нынче уезжают на Дальний Восток...— говорил Серафим.

Я слушал и не верил, смотрел на стул пустой и тоже не верил. Я не плакал, нет! Не вскочил и не бросился сломя голову догонять их на станцию. Я весь одеревенел, и все передо мной было в каком-то тумане.

Я не стану подробно описывать четыре последних дня в лагере. Они были ужасны. Все и всюду напоминало мне Нику.

Не знаю, что было бы со мной, если бы не Серафим. Он не терзался, как я. Он уже прошел через эти страданья раньше меня, может быть, в тот день, когда в соломенной шляпе уходил с «камрадами» ловить жучков и бабочек. Но и ему было тяжело и грустно. Я это видел, да он и не скрывал своих чувств. Он почти не отходил от меня, почти не говорил ни о чем, а если и говорил, то о каких-то пустяках. Но я живо чувствовал его горячее сочувствие, его прежнюю, горячую дружбу. В эти ужасные дни я впервые, пожалуй, по-настоящему оценил Серафима.

Внешне я был спокоен, делал все, что полагалось мне делать, так что, кроме Серафима, никто и не замечал, что происходило со мной. Даже Муся. Счастливая! После разлуки с Никой она поплакала, потом погрустила немного, а потом уже и грустить перестала, как будто ничего и не случилось.

Если б и я мог вот так же выплакать все и забыть...

Потом я вспомнил, что ведь Ника-то не хотела уезжать из Москвы, одна хотела остаться.

«А вдруг, а вдруг она и в самом деле взбунтуется и не поедет, останется жить у Николая Андреевича. Она это может... Отец любит ее... И на все согласится, если она только захочет...»

Я ждал: вот-вот она снова появится в лагере. Но она не являлась, — значит, уехала. Тогда другая надежда вселилась в меня:

«Приеду в Москву, а там письмо от Ники. Она знает мой адрес. Она записала его в своей маленькой записной кожаной книжечке. И мы будем переписываться всю жизнь, пока не встретимся снова...»

С этой надеждой я и уехал из лагеря.

Глава четырнадцатая

В Москве я бегом взбежал на третий этаж и сразу же к синему ящику, прибитому к двери. Письмо! Письмо! Вот оно белеет сквозь решотку.

Я дрожащими руками открыл дверь в квартиру, сорвал ключ от ящика, висевший тут же, на гвозде у двери, и вынул письма. Их было два. Одно — отцу, повестка какая-то, другое — мне. Я сжал его, вошел в квартиру, бросил вещи на диван и разорвал конверт.

Увы, письмо было от матери:

«Сашенька, милый, не задерживайся в Москве. Оставь вещи и сейчас же приезжай к нам. Захвати с собой из аптечки у меня над кроватью вату и салол...»

Дальше следовали план и наставления, как добраться до дачи со станции. Этого я уже не стал читать и бросил письмо на стол.

В квартире было душно. Шторы с окон сняты, и прямо в окна с юга глядело городское, пыльное, знойное солнце. Шолковый абажур с лампы, скатерть со стола тоже сняты и спрятаны. Диван покрыт пыльными газетами, на кроватях в спальне — голые матрацы. И все кругом было голо и пахло нафталином.

Я сел за стол, облокотился и задумался:

«...Что же теперь делать? На дачу ехать?.. Нет, нет, никуда я не поеду. И никого не хочу я видеть...»

Так я просидел, не знаю, уже сколько, потом встал, сбросил газеты с дивана на пол, лег и лежал до темноты, как бы ни о чем не думая.

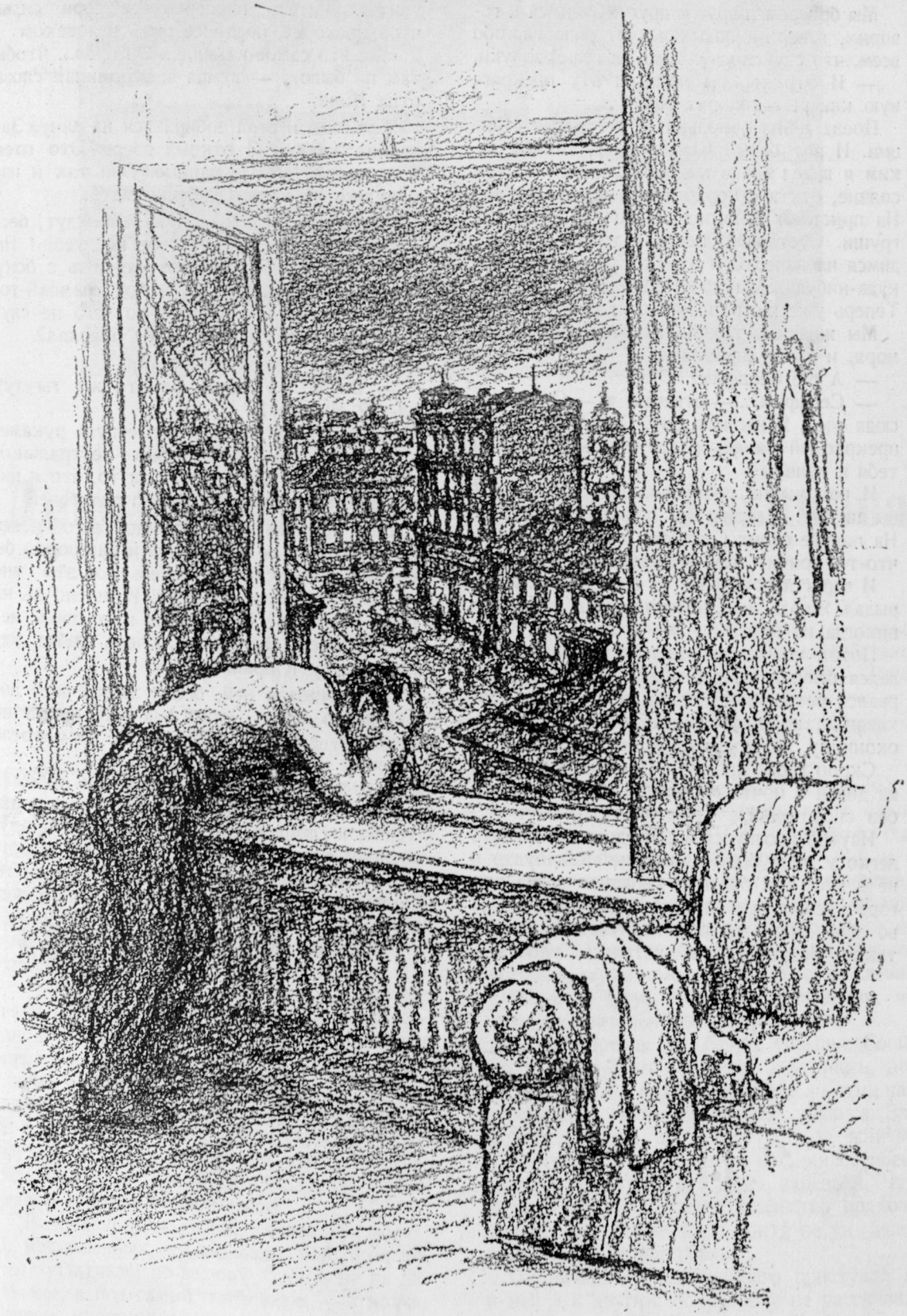
К ночи стало невыносимо душно, дышать было нечем. Я встал, раскрыл окно и сел у окна. Надвигалась гроза. Тяжелые, черные тучи отовсюду наступали на город. Частые молнии вспыхивали то здесь, то там, и сплошной канонадой гремел гром. Духота томила, а дождя все не было.

И вот, глядя в эту грозовую, душную ночь на город со светящимися фонарями и окнами, я вдруг очнулся от своей неподвижности, словно оттаял, и стал мечтать неудержимо и сладко.

«...Я уже взрослый и еду куда-то. Вхожу в вагон и вижу в углу, у окна, девушку в шляпе с широкими полями. Лица ее мне не видно. Она читает, склонившись, книгу, мою книгу, которую я написал, в которой я высказал всю свою горечь, все свои муки и радости. Вхожу, она поднимает голову, и я вижу в глазах у нее слезы. Она растрогана, ей жаль моего героя. И вдруг узнаю и вскрикиваю:

— Ника!..

— Саша!..



И вдруг я повалился на подоконник и зарыдал.

Мы бросаемся друг к другу. Садимся и говорим, говорим, задыхаясь от радости, обо всем, что случилось с нами за годы разлуки.

— И это ты, ты написал эту прекрасную книгу! — говорит Ника.

Поезд мчится, мелькают суетливые станции. И вот белый Севастополь, такой, каким я видел его в кино на экране. Южное солнце, бухта с кораблями и легкой зыбью. На пристани виноград в решотах, персики, груши. Суетливая, пестрая толпа. Мы садимся на пароход и едем в Гурзуф или еще куда-нибудь. Мы счастливы. Мы взрослые. Теперь уже никто и ничто не разлучит нас.

Мы живем в тихой татарской деревне у моря, и Ника спрашивает:

— А где Серафим?

— Серафим?.. — отвечаю я. — Он к нам сюда едет. Я написал ему. Он все такой же прекрасный парень и все так же любит и тебя и меня.

И вот мы на пристани. Дует ветер, волны шумят. К пристани подходит пароход. На палубе стоит Серафим, машет шляпой и что-то кричит нам веселый, счастливый...»

И вдруг я повалился на подоконник и зарыдал. Я ведь знал, наверное знал, что этого никогда не будет.

Потом тотчас же где-то поблизости раздался оглушительный треск. В комнату ворвался ветер, зашелестел газетами, и прохладный, крупный дождь застучал по подоконнику, по рукам моим, по голове.

Скоро гроза прошла. Я лег не раздеваясь на диван и почти мгновенно заснул крепко, без сновидений.

Наутро проснулся и сам удивился: до чего легко у меня было на сердце! Как будто и не я это. Как будто я выплакал вчера всю горечь свою без остатка и все обновилось во мне. Давно-давно я не чувствовал себя таким бодрым. Мне хотелось работать, учиться, читать, проявить все свои силы, чтоб поскорее, поскорее быть человеком.

«Да, это самое главное... Он прав... чтобы там ни было», — думал я, вспоминая слова отца Ники.

Я умылся и стал собираться на дачу. Зазвонил звонок. Я открыл дверь. Это отец и мать, оба взволнованные. Они так и накинулись на меня. Особенно мать:

— Ты что же это?.. А?.. Тебя ждут, беспокоятся. А ты и в ус себе не дуешь! На все наплевать! Я-то сдуру всю ночь с боку на бок ворочалась. Уже и под трамвай-то, думала, попал и с поездом-то чего не случилось ли... А ты... Когда ты приехал?

— Вчера еще утром...

— Вчера!.. Утром!.. Да что же ты тут ел-то? Ничего?!

Мать пришла в ужас, всплеснула руками, уставилась на меня своим театральным взглядом и начала бранить за то, что я нисколько, нисколько не жалею родителей.

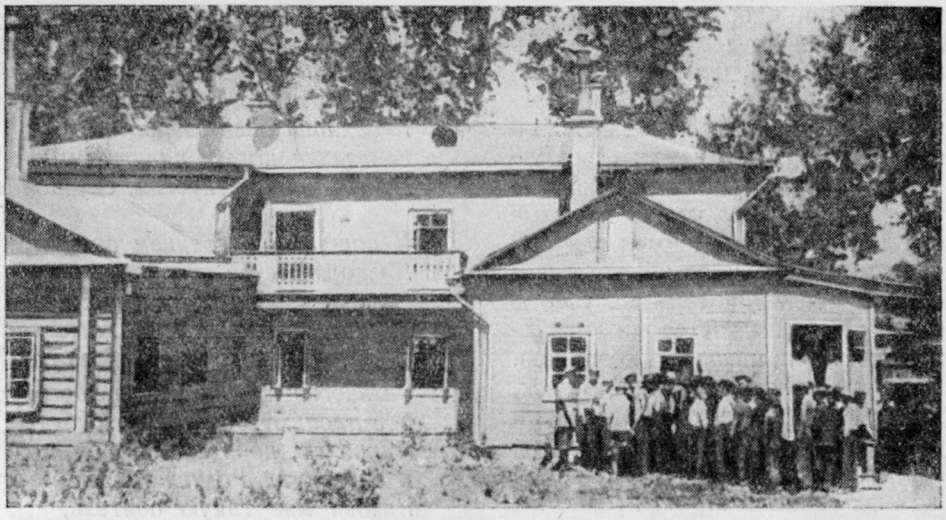
Еще недавно я непременно бы обиделся на некоторые ее выражения и наговорил бы ей уйму дерзостей, а теперь все это мне показалось таким вздором! И можно ль на нее обижаться? Ей хочется накормить меня поскорей. Она любит, очень любит меня, потому и бранит...

Я подошел к ней, обнял за плечи и поцеловал в щеку. Этого она уже никак не ожидала, с таким изумлением посмотрела на меня и чуть не заплакала.

Тут я вспомнил ее поручение и побежал в спальню за салолом и ватой. Роясь в аптечке, я слышал, как отец тихо и с возмущением сказал ей:

— Ну как тебе не стыдно!.. Неужели ты не видишь, что он совсем, совсем уже взрослый...

Через час мы уехали на дачу.



Дом, где родился Владимир Ильич.

День рождения Володи Ульянова

Мариэтта Шагинян

Писательница Мариэтта Шагинян написала роман о семье Ульяновых. Мы напечатали одну главу из этого романа. Действие происходит в 1869—1870 годах. Отец Владимира Ильича — Илья Николаевич — получил назначение в Симбирск инспектором народных училищ. Осенью вся семья Ульяновых выехала из Нижнего Новгорода в Симбирск (теперь Ульяновск).

БА последние года, 67 и 68-й, на Волге были засушливы, и урожай пропал до последнего колоска. Голодали подряд две зимы, голодали отчаянно, вымирали деревнями и волостями, людоедствовали, обуглились в тифу, а потом косой покосила холера. Осенью 1869 года, когда Ульяновы переселились в Симбирск, хлеб как будто взошел ничего. На пристанях уже продавали мордовки калачи и бублики, пироги с творогом. Тем более было странно и удивительно Илье Николаевичу, когда нижнюю палубу перед Симбирском запрудила странная в своем молчании толпа.

В лежащих и спящих вповалку людях, в истомленных, худых лицах баб, повязанных платками по-великорусски — не на затылке, а под самый подбородок, — в молчаливых мужиках, уткнувших головы в руки, в их убогих узлах, продетых на палку, в молчанье грудных ребят было что-то неподвижное до жуткости. Даже незаметно было, когда они пьют или жуют.

Что за притча была в этом безмолвии?

Он пробовал спрашивать раз и другой, ему отвечали односложно и вяло, даже не вскидывая шапку поверх лба, и желтовато-восковые губы шевелились нехотя, словно с болью. И вдруг, никем не спрошенная, из угла пронзительно заговорила баба:

— Из деревни мы, барин, ушедши. Свойто хлеб неубран оставили, завлеклись, позарило нас. Да видишь, какое дело, тыщ нас пятнадцать, мужиков и баб, ушло в Заволжье, сулили по четвертной за жнитво с десятины-то и обманули нас, милостивец, кругом обманули, без ножа зарезали. Что будешь делать! Свое-то хозяйство прахом, вот теперь и каемся, да локтя не укусишь, вчерашнего не воротишь!

Он ничего не понял. Долго приступал и к ней и к другим, покуда ему не рассказал машинист страшную историю этих разорен-

ных людей. Урожай с весны обещал быть хороший, и помещичьи агенты, желая завербовать для уборки огромных поместий заранее батраков, с весны смутили крестьян большим посулом, что-де за Волгой дадут им по 25 рублей за каждую сжатую десятину. Такая цена — аховая цена, но мужики поверили, потому что и прошлые годы стояли вздутые цены. Рассчитали они так: заплатят дома у себя, за уборку своих полей, по 4—5 рублей, а сами на уборке возьмут выше той цены впятеро и вшестеро, да на прибыли и поправят хозяйство. Но вышло иначе. Пятнадцать тысяч человек, снявшихся с места и ушедших на заработки за Волгу, отошли вглубь на сотни верст, а там дожди, батраков оказалось свыше, чем надобно, как помещики и строили свой расчет; идти назад несолоно хлебавши тоже не на что, и вот крестьяне нанимались жать и по 3 рубля за десятину, лишь бы не помереть с голоду, пока доберешься домой. Три четверти ушедших не заработали ничего и возвращались, имея перед собой еще долг за уборку собственного хлеба.

— Эх, славны бубны за горами! — кончил рассказ машинист. — Серый народ, их обкрутить вокруг пальца легче чем вшу поймать, ваше благородие.

Илья Николаевич содрогнулся. Теплой струей пробежала у него по телу не жалость даже, а острая нежность к этим побитым жизнью, нежность, похожая на страданье. Так бывало с ним за чтением любимого поэта—Некрасова. Он вез с собой его старенький томик, изданный в 63-м году, тот самый, про который Тургенев воскликнул: а стихи-то Некрасова, собранные вместе, жгутся; он имел и особую тетрадь, куда переписывал любимые свои стихи. И сейчас, войдя в каюту, рассеянный и омраченный, походил-походил, как зверь в клетке, от стены к стене, а потом раскрыл книгу, уронил щеку в ладонь и стал по-новому перечитывать знакомые строки:

«...Раз я видел, сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди,
Помолились на церковь и стали вдали,
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар.
— «Допусти», говорят
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых
(Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних губерний).
Кто-то крикнул швейцару: «гони!
Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,

И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: суди его бог!
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...

За заставой, в харчевне убогой
Все пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут... Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У под'езда судов и палат...

Волга, Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля...»

Он читал, и его глаза увлажнились. Это было написано одиннадцать лет назад. Вчерашний раб ныне свободен и—что же? Он такая же темная, безответная жертва хитрости и подлости, все так же на нем, как на скотине, ездят другие в свою пользу и выгоду... Учить его, учить, вывести его из темноты к свету!..

НОВЫЙ инспектор народных училищ, коллежский советник Ульянов, по чину еще только начинавший восходить по лестнице, был уже лицом, о прибытии которого печатают в губернских газетах. И Марья Александровна была теперь тоже супругой должностного лица.

Снизу, с пристани, город наплыл на них красотой русской ранней осени. В

золоте сквозили сады под горой, наверху сверкали соборные колокола, в прозрачной ясности были остро слышны звуки, падал, ухая, куль на землю, визжала где-то пила, неслись низко, шурша крылом, птицы, зазывали извозчики, и надо всем этим стеклянно-звонко, чеканно, ясно пробили, словно тут рядом, а очень издалека, башенные часы, подарок графа Орлова-Давыдова городу Симбирску.

Как ступил Илья Николаевич на землю, пожимая руки встречающим, и на ходу что-то уже спрашивая и говоря, так Марья Александровна сразу и потеряла его чуть не на всю зиму. Чиновники, его встречавшие, сразу же почуяли в этом быстром, картавящем, сутуловатом человеке, одетом вовсе не по-столичному, в его улыбке и пожатии настоящего труженика, простую душу, какие тянут обыкновенно гуж всерьез и за совесть, одни за всех.

Выехал в первый об'езд по губернии, не дожидаясь, пока семья распакуется на новом месте, чтоб не пропустить хорошую погоду, и с первым же крепким ветром, на солнце понял, что теперь пришло к нему главное дело его жизни. Скошенные поля с вороньем, крылья мельницы за пригорком, болота, затянутые очеретом с тяжелой, грязной кувшинкой, избы, как горсть опят на мокрой земле под неожиданным, холодноватым дождем, ямщицкий бубенец, отвязанный, чуть от'ехали от города, и родные, землистые бородатые лица — все это было теперь его, здесь проезжал он хозяином необ'ятной пажити, и он страстно желал работы на ней.

Ему даже совестно было, что так хорошо, по душе, дается эта работа, во всей прелести деревенского воздуха, отнятого у городских жителей.

А жена устраивалась на новом месте.

Стрелецкая улица, где они наняли флигель, одним своим концом выходила в то время к небольшой Никольской церкви, нынче снесенной, к дворянскому собранию и карамзинскому скверику, а другим упиралась чуть не за город, в «Старый Венец» и тюрьму. Именно на этом дальнем конце и помещался, во дворе дома Прибыловского, нанятый флигелек.

Мать Владимира Ильича.

На «Старом Венце», крутом откосе над Волгой, занесенном желтыми мокрыми листьями, уже осень стояла. Резким озоном пахло от деревянных, тоже мокрых скамей. Внизу, в дивном просторе, вилась Волга, и небо над ней было исчеркано, словно мелом по синеве, густым пером облаков. Сюда по воскресеньям приходили мастеровые сорить семечки, грызть сладкие черные стручки и наигрывать на «тальянке». Тюрьма, огороженная стеной, выходила окнами прямо на Венец. К решоткам постоянно налипали бледные, жадные лица и выбритые головы. В будни, когда народу было меньше, приходилось посылать сюда на прогулку Аню и Сашу. Марье Александровне с Настей уже трудно становилось управиться, и она письмом попросила сестру Аннушку найти

ей к весне из Пензы няню, такую же хорошую, как веретенниковская. В первый день, приехав и едва разложившись, она даже была довольна новым городом несмотря на тесноту флигеля: все ей напоминало деревню. Тихие особнячки с деревянной резьбой, скамейки перед воротами, пыльная немощеная улица, дощатые тротуары, куры, копающиеся в навозе, унылое кукареку с чужого двора и приглушенность, обособленность их собственной жизни, канувшей сюда словно капля дождя в песок, — так все хорошо, «вольготно» было тут, по выражению Насти, тотчас же, с парохода, принявшейся во дворе за стирку, чего уж никак не позволялось на гимназическом дворе в Нижнем.

Но «вольготность» оказалась обманом.

На второй же день по приезде Ульяновых перед домом Прибыловского задержалась карета: это приехали первые визитерши. Марья Александровна вышла, как была, с доброй своей улыбкой на красивых губах, милая и приветливая. Тотчас же было замечено, что инспекторша держится хорошо, прямо, как институтка, и губы у нее с лукавством; народ говорит про такие — «губы сердечком», тонкие, чуть пухлые на середке, словно еще не раскрытая в бутоне улыбка, а над губой, справа, большая родинка. Печенье же инспекторши прямо «во рту тает».

Но за первыми визитерами нахлынуло их множество.

В деревянных особнячках с резьбой жили дворяне, купцы и чиновники. У них еще служило по пять—шесть человек бывших дворовых. Осенью из деревни приказчик посылал дворянам возы битой дичи, мешки с мукой, бочки соленого и квашеного, ящики сушенья и печенья. Через неделю, когда собственное надоедало жевать, начинались «гости»: весь город ходил жевать друг к другу. Люди называли это «проводить время». А у Марьи Александровны время было самым драгоценным продуктом ее хозяйства: она высчитывала и выкраивала каждый его обрезок, чтоб успеть хоть на ночь, на полчаса вынуть и для себя книгу из комода, заложенную закладкой, и почитать при лампе, поворачивая листы, как это она одна умела, с верхнего края, осторожно и не загнув угла. Пришлось отгонять гостей разными хитростями: всякий раз будто только-только еще приехали они в Симбирск, будто и не успела сменить рабочей одежды — ну как тут «принимать» и самой «выезжать»?

СТРАСТНОЙ неделе мороз сдал сразу и сделалось душно, как в парнике, белый Симбирск осунулся, повисли дымные очертания его церквей, не сорока сороков, как в Москве, но все же церквей, несчетных числом, поднявшихся над домами полчищем куполов. В воздухе, в снегу, в скованной Волге, в почтовых трактах, уходивших из города в белые поля, — шло неотвратимое, медленное движенье к весне, а в домах, на папертях и кухнях шло тоже свое подготовительное движение.

Нужно было и Марье Александровне готовиться к пасхе. В среду на страстной с кухаркой Настасьей она поехала по магазинам.

Неимоверно были грязны улицы; рынок забит возами со всякой снедью: битыми индейками и пулярдками, балыком, осетриной, кадушками со сметаной и творогом, мешками муки всех сортов помола, корзинами свежих яиц. Мужики ночевали тут же, в рогожах, пряча выручку за грязные, веревками перевитые онучи. Извозчики стояли, ждали стайками, кричали заранее: «Пятиалтынный!», «Две гривны!», даже «Пожалте за гривну, по воздуху домчу!» Перед питейными заведениями, рейнскими погребами, пивными, трактирами, распивочными и на вынос, их было в городе свыше сотни, густо чернел народ, и на папертях тоже народ; Марья Александровна подметила, что в праздник, как на театре, люди делятся на тех, кто празднует, и тех, кто делает праздник или пользуется от праздника, и этих последних куда больше чем первых. Купцы брали настоящие барыши под праздник; мужики от'езжали от своих деревень в самую распутицу на пятьдесят, на восемьдесят верст; попы, городовые, извозчики, дьяконы, певчие, дворники, кладбищенские сторожа, нищие на папертях — всяк по-своему ждал выручки и работал на выручку: одни подновляли свои уродства и вскрывали язвы, другие надевали чистые фартуки и бляхи, третьи облачались в парчевые ризы, но все они ждали праздника, чтоб на свой лад протянуть руку за выручкой, за милостыней, за «начаем».

Мария Александровна не задумывалась, верит она в бога или нет, но не любила разговоры о религии и не откликалась, когда перед ней разливались на эту тему.

В глубине души она скорей была неверующей, и чем дальше, тем больше. Представить себе бога она могла не иначе, как насильственно, отрешившись от всех обычных представлений о жизни и предметах, и ей просто трудно было найти ему в воображении место, еще не занятое другим чем-нибудь. Когда ей говорили, что ведь он разлит во вселенной, живет в душе, в помысле, в каждой букашке и без него не падет волосок с головы человеческой, она соглашалась, потому что так были убеждены почти все окружающие, но соглашалась, не чувствуя этого. В трудные минуты жизни у нее даже вырывалось «Молись, молись!», обращенное к дочери или к самой себе, но именно это обращение во втором лице показывало, что кинуться на колени в молитве ей самой и в голову не приходит. И уж чего она решительно не понимала, так это обращения к религии в поисках истины, в желании об'яснить, откуда произошла жизнь. «Если даже есть бог, — думала она, — то ведь это значит, он должен быть такой сложный и такой окончательный, раз к нему сводится весь смысл жизни, что он труднее, сложнее всякой науки, дальше от ума чем все законы природы и, чтобы постичь его, надо больше потратить времени и ученья чем на постиженье одного какого-нибудь из его маленьких законов! А если он дается людям легче науки, так в нем не может быть истины, это самообман, вроде звона в ушах».

Но мыслями своими она ни с кем не делилась, тем более, что Илья Николаевич был верующий. Он верил и в бога и в церковь как учреждение бога на земле. Для него заповеди, обряды, посты — все было связано с нравственным смыслом жизни, и он соблюдал их. Чтоб сделать мужу удовольствие, Марья Александровна тоже ходила в церковь и сейчас, в страстной четверг, зашла в битком набитую Никольскую, где, она знала, должен стоять муж. Но в церкви была нестерпимейшая духота, потная, промасленная, и Марья Александровна вспомнила правило своего отца: хочешь прожить долго, живи на воздухе, свежий воздух — комфорт умного человека. Она не выдержала, не стала дожидаться конца службы, а пошла тихонько домой, не зажгла нигде лампы и сама прилегла, как была, одетая. Ей нездоровилось, а завтра куличи месить, пасху протирать. Но ни куличей месить, ни пасхи протирать на этот раз ей не пришлось.

Утром — в пятницу — 10 апреля Илья Николаевич прошел из дому прямо в типографию симбирских губернских ведомостей, чтоб просмотреть в последнем перед пасхой субботнем номере начало своего отчета о школах. Всю пасху, десять дней, и газета и типография будут на замке.

Он прочитал оттиск, вышел на улицу и распахнул пальто, так тепел был воздух. На город неудержимо шла весна, с треском и шумом ломались волжские льды внизу.

Перед флигелем его остановили, — входите тише.

Соседка их по квартире Анна Дмитриевна Ильина, маленькая, округлая, с черным пушком над губой — «научная фельдшерица», как ее называли в городе, а попросту первая симбирская повитуха с медицинским образованьем,—уже стала хозяйкой во флигеле.

Он тихо открыл дверь. Праздник остался — на столах и в кастрюлях, на кухне и в кладовке — брошенный и неконченный. Яйца недокрашены, остуделое тесто задвинуто в угол и позабыто, формы свалены в одну кучу. Сквозь запах ванили и шафрана, купленных только вчера, бил в нос другой запах — аптечный.

— Айда, айда, Илья Николаевич, это не ваше, мужское дело, и без вас справимся!— говорила Анна Дмитриевна.

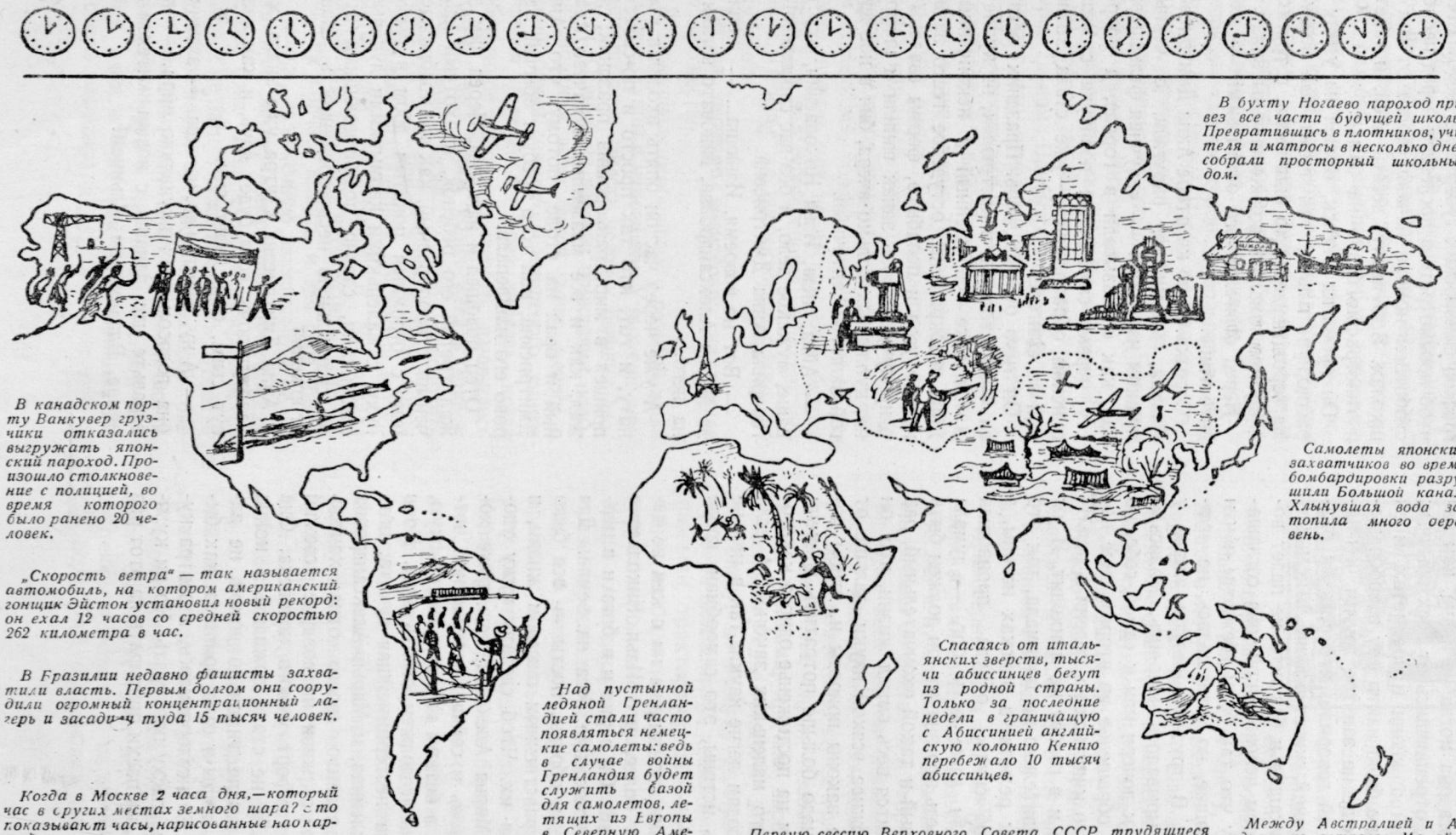
— Вот не вовремя, Ильюша... — шепнула Марья Александровна, виновато взглянув на него.

А уже через час он опять входил в комнату, и тот, кто так просто и по-свойски пришел в мир, разворошив праздник, лежал, как и все младенцы, кумачево красный и орал на столе, потому что Анна Дмитриевна, как того требует обычай, здорово его нашлепала.

Отец подошел и нагнулся. Перед ним лежал третий его ребенок, крохотный ильиченыш, старообразный, как все новорожденные, с огромным покатым лбом в рыжем пуху, с маленькими калмыцкими лукавыми глазенками, словно подмигивающими отцу на скандальную несвоевременность своего вторжения

Анна Дмитриевна с утра уже знала, как назовут дочь, если будет дочь, и как назовут сына, если будет сын.

— А ну, берите нас, папаша, — затянула она голосом всех акушерок мира, — поздравьте нас, папаша, с новым жителем на земле, Владимиром Ильичем!



В бухту Ногаево пароход привез все части будущей школы. Превратившись в плотников, учителя и матросы в несколько дней собрали просторный школьный дом.

В канадском порту Ванкувер грузчики отказались выгружать японский пароход. Произошло столкновение с полицией, во время которого было ранено 20 человек.

„Скорость ветра" — так называется автомобиль, на котором американский гонщик Эйстон установил новый рекорд: он ехал 12 часов со средней скоростью 262 километра в час.

В Бразилии недавно фашисты захватили власть. Первым долгом они соорудили огромный концентрационный лагерь и засадили туда 15 тысяч человек.

Когда в Москве 2 часа дня,—который час в других местах земного шара? Это показывают часы, нарисованные на карте.

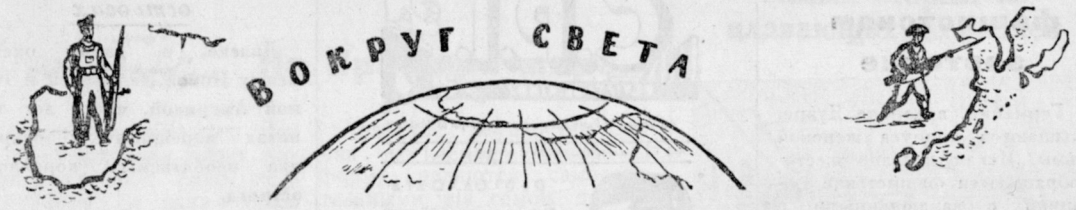
Над пустынной ледяной Гренландией стали часто появляться немецкие самолеты: ведь в случае войны Гренландия будет служить базой для самолетов, летящих из Европы в Северную Америку.

Самолеты японских захватчиков во время бомбардировки разрушили Большой канал. Хлынувшая вода затопила много деревень.

Спасаясь от итальянских зверств, тысячи абиссинцев бегут из родной страны. Только за последние недели в граничащую с Абиссинией английскую колонию Кению перебежало 10 тысяч абиссинцев.

Первую сессию Верховного Совета СССР трудящиеся Советской страны встретили многочисленными победами творческого труда. Строители московского метро показали депутатам вновь построенную линию метро второй очереди; забойщики, машиностроители, металлурги посвятили сессии свои производственные рекорды.

Между Австралией и Азией, на одном из островов Малайского архипелага, находится вулкан Кракатао. Вулкан этот последние десять лет „молчал", теперь он опять заработал, выбрасывая высоко вверх клубы огня и дыма.



Под властью фашистов

Недавно в Баварии антифашисты распространяли листовки с таким четверостишием:

«Наши шоссе и улицы становятся все более чистыми.
Наши фашистские руководители — более толстыми.
Наши рабочие — более худыми,
И за все это они должны благодарить фюрера».

Безработный юноша на улице Берлина.

Каждый месяц в газете, носящей длинное название «Рейхсминистериалблат дер Ландвиртшафтлихен Фервальтунг», фашистский министр сельского хозяйства и продовольствия печатает приказы, которые предписывают, чем питаться немецкому народу.

В этих приказах тщательно избегается всякое упоминание о мясе, масле, яйцах, фруктах. Картофель, брюкву, овсянку, горох, чечевицу, молочный порошок, искусственный мед — вот что должны были есть жители Германии в декабре.

Самолеты ринулись вниз

Семь японских военных кораблей поднимались вверх по Янцзы. Там, где река резко поворачивает на юго-запад, чернели укрепления Дуэншаня. Их пушки закрывали японцам проход по реке к Нанкину.

Японская эскадра получила задание — уничтожить эти укрепления.

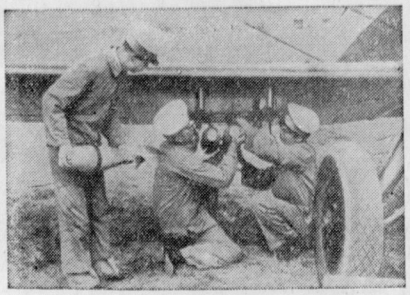
Около 2 часов дня на горизонте показались 15 китайских самолетов. Они летели навстречу врагу. На кораблях заработали скорострельные зенитные пушки и пулеметы, выбрасывая вверх, в задернутое дымкой тумана небо тысячи снарядов.

Туман помогал самолетам укрываться от обстрела, но он же мешал им нащупать цель. Одна за другой бомбы разрывались в воде.

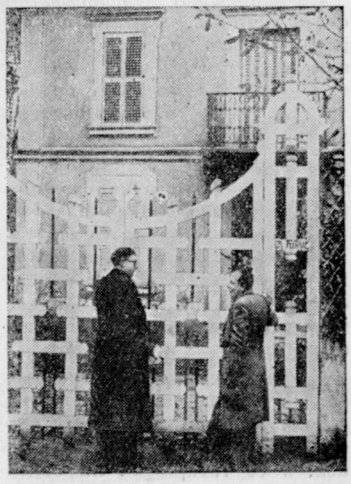
Японцев надо было остановить любой ценой. И китайские летчики с трехсотметровой высоты бросили свои самолеты вниз, прямо на японские корабли.

Взрывались бомбы, подвешенные под плоскостями самолетов, взрывались снаряды, хранившиеся в корабельных погребах. Об'ятые пламенем, с развороченными бортами корабли вместе с потопившими их самолетами медленно погружались на дно.

Отважные китайские летчики пожертвовали жизнью, чтобы преградить путь врагу.



Китайские летчики подвешивают бомбы под крылья самолета.



Вилла „Фютэ".

Подземная тюрьма

Полиции стало известно, что на вилле «Фютэ», расположенной в одном из предместий Парижа, ведутся какие-то таинственные работы.

Когда на виллу прибыли полицейские комиссары, они увидели комнаты, уставленные походными койками. В подвале полицейские нашли ящик с бутылками, с тремя отделениями ввиде полок. Один из полицейских потянул полку и обнаружил, что она скользит в пазах. Когда все три полки были сняты, боковины сами отпали, и за ними показалась кирпичная стена в металлической раме.

Это была дверь, которая вела в длинный и узкий коридор. На левой стороне коридора была обнаружена вторая дверь с решоткой, как в тюремных камерах. Это и была настоящая тюремная камера, устроенная глубоко под землей.

Вилла «Фютэ» принадлежала французским фашистам. Подготавливая мятеж, они построили по всей стране тайные склады оружия, подземные укрепления, лазареты. В эту подземную тюрьму фашисты собирались посадить членов правительства народного фронта.

Стихи Пушкина в фашистском застенке

В Германии, в городе Яуэре, возвышаются корпуса женской тюрьмы. Исключительно жестоко обращаются фашистские тюремщики с заключенными в тюрьму женщинами-антифашистками.

Им запрещают переписываться с родными, читать книги, разговаривать и даже здороваться друг с другом. Недавно одну политзаключенную предали суду за то, что она подала другой руку.

Совершенно случайно в тюрьму попали два номера старого журнала «Гартенлаубе» («Беседка»), изданного еще в 1890 году. В этом журнале одна из политзаключенных нашла стихи Пушкина «В Сибирь», переведенные на немецкий язык.

Стихи глубоко взволновали ее. Пушкин, писавший эти строки больше чем сто лет назад, будто бы обращался к ней, к ее товарищам по борьбе:

«Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа
И братья меч вам отдадут».

Много раз перечитывала она эти строки. Выучила их наизусть. Всякими способами обманывая бдительность тюремщиков, передала стихи товарищам. Теперь все заключенные знают это стихотворение. В письме, которое им удалось передать на волю, они пишут: «Оно стало *нашим* стихотворением. Оно придало нам мужество и надежду. Оно дало нам новые силы переносить ужас нашего положения».

□ □ □

Ребята, эвакуированные из Мадрида, живут в детских домах, которые для них устроило республиканское правительство. Ребята одного из таких домов в Валенсии выпустили журнал, посвященный 20-летию Октябрьской революции. Они сами написали все статьи, сами нарисовали рисунки.

Перед нами первая страница этого журнала. В передовой статье испанские ребята пишут:

«Мы никогда не забудем той братской поддержки, которую нам оказывает Советский Союз. Этой чудесной стране, идущей под руководством великого Сталина по пути побед, посвящаем мы этот номер нашего журнала.

Посвящаем его нашим братьям — советским детям. Вместе с ними мы будем строить и укреплять всемирное братство народов».

В Монгольской народной республике. Школьники одной из школ вместе со своим учителем.

На необитаемых островах

Далеко, в Тихом океане, между Новой Зеландией и Южной Америкой, много лет тому назад мореплаватели открыли два необитаемых коралловых острова.

Географы нанесли острова на карты и на этом успокоились. Долгое время островами никто не интересовался.

Недавно английское правительство об'явило, что оно аннексирует (занимает) эти острова. Почему вдруг заинтересовали англичан затерянные в океане островки? Оказывается, они собираются устроить здесь аэродромы для гидросамолетов.

Любимая книжка испанских ребят

«Чапаев» — наша самая любимая книжка. Но не только наша.

В Мадриде, на одной из улиц, раскинулись длинные ряды книжных палаток. У палаток всегда толпятся покупатели. Среди них много ребят.

Продавцы рассказывают, что чаще всего ребята спрашивают «Чапаева».

Мой отец был героем

В редакцию лондонской газеты «Дейли уоркер» прислал письмо 12-летний мальчик Г. Ньюбери из Манчестера. Он пишет:

«Мой отец был недавно убит в Испании, где он защищал бедных, беззащитных детей, которых убивали фашисты.

Я горжусь своим отцом, я горжусь тем, как он выполнил свой долг по отношению к нам и к Испании. Я буду всегда помнить, что мой отец был героем, и всю свою жизнь буду следовать его примеру».

На Красном море

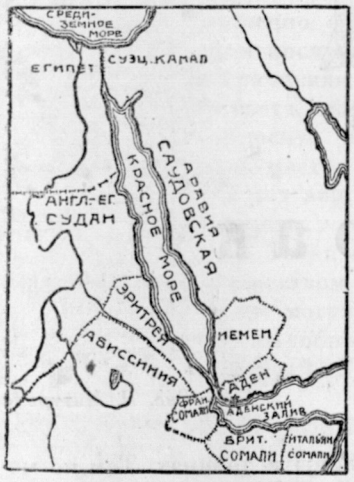
Главарь итальянских фашистов Муссолини живет, как известно, в Риме. Здесь же в Риме живет и папа — глава католической церкви.

Муссолини—ревностный католик. Но это не помешало ему об'явить себя покровителем ислама, т. е. мусульманской религии.

Что же произошло?

Найти ответ на этот вопрос нам поможет карта Красного моря.

Посмотрите, как изрезаны государственными границами земли, прилегающие к берегам этого моря.



На африканском берегу: Египет, англо-египетский Судан, итальянская колония Эритрея, Французское Сомали, Британское Сомали, Итальянское Сомали. На аравийском берегу: арабские государства Саудия и Иемен, английская колония Аден.

Как видите, крупнейшие империалистические государства захватили в свои руки побережье Красного моря. Это и не удивительно. Ведь через Красное море лежит один из важнейших мировых торговых путей — кратчайший путь из Европы в Индию, Австралию, Китай.

Каждый год по этому пути проплывает 6 тысяч кораблей. С запада на восток везут они промышленные изделия, с востока на запад — хлопок, зерно, мясо.

Англия и Италия ведут между собой упорную борьбу за господство на Красном море.

Арабские государства Саудия и Иемен только по форме являются самостоятельными. На самом деле в этих государствах, как и на всем Аравийском полуострове, хозяевами до последнего времени были англичане.

После мировой войны маленькое государство Иемен вдруг начало воевать с англичанами. Разгадать тайну этой войны удалось скоро: иеменцы были вооружены итальянскими винтовками и пулеметами.

Скоро началась еще одна война на Аравийском полуострове — между Иеменом и Саудией. Под шумок итальянские моряки пытались захватить иеменский порт Ходейду. Правда, это им не удалось.

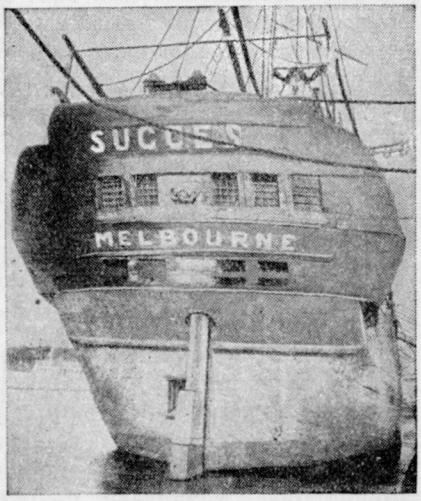
Заключив договор с Саудией, итальянцы теперь всячески стараются вытеснить оттуда англичан. Им уже удалось получить концессию на добычу нефти в Асире (часть Саудии).

Арабы — коренные жители Аравийского полуострова — мусульмане.

Вот почему Муссолини прикидывается покровителем ислама.

Ему нужно перетянуть на свою сторону арабов, завоевать их симпатии для того, чтобы легче было вытеснить с Аравийского полуострова англичан и стать полновластным хозяином на Красном море.

Самый старый из плавающих кораблей



Это—самое старое из плавающих суден, австралийский корабль «Успех», построенный в 1790 году в Британской Индии.

Англичане превратили этот корабль в пловучую тюрьму. 66 лет — с 1802 по 1868 год— на нем перевозились заключенные из Англии в Австралию. Из этих заключенных составились первые колонии белого населения Австралии.

«Успех» построен из прочного остиндского тикового дерева и сохранился полностью.

Теперь он совершает плавание вокруг Австралии, останавливается в портах, где судно осматривают много любопытных.

В Японии почти все земли, пригодные для обработки, принадлежат императору и помещикам. За аренду земли крестьяне отдают хозяевам больше половины урожая. Живет японский крестьянин в бедности, землю обрабатывает деревянными сохами и вообще не имеет современных сельскохозяйственных орудий. Вы видите, как японские девушки провеивают рис при помощи бумажного меха, напоминающего большой веер.

Жених-призрак

(*Рассказ путешественника*)

Вашингтон Ирвинг *Перевод М. Гершензона* *Рис. П. Митурича*

На вершине одного из холмов Оденвальда, дикой и романтической области Верхней Германии, невдалеке от слияния Майна и Рейна, стоял много-много лет назад замок барона фон Ландсхорта. Сейчас от него остались одни развалины; он совсем почти схоронен среди берез и темных сосен. Все же и поныне глядит поверх деревьев его старая дозорная башня; подобно прежнему владельцу замка, она силится гордо держать свою голову, с высоты озирая окрестность.

Барон представлял собой сухую ветвь славного рода Кацснелленбогенов; вместе с остатками их владений он унаследовал всю гордость своих предков. Хотя воинственные склонности его предшественников нанесли немалый урон родовому богатству, барон все же тщился поддерживать память о былом величии. Времена были мирные, и германская знать по большей части покинула свои неудобные старые замки, заброшенные в горы наподобие орлиных гнезд, и построила более удобные обиталища в долинах. Тем не менее барон оставался попрежнему в своей маленькой крепости, с упорством продолжая вести родовые тяжбы и ссоры, и со многими из ближайших своих соседей находился в прескверных отношениях по причине раздоров, начатых еще их прапрапрадедами.

У барона было одно лишь дитя — единственная дочь; но если уж природа подарит одним-раз'единым ребенком, она всегда, в искупление, наделяет его необыкновенными качествами; так случилось и с дочерью барона. Все няньки, кумушки и сельские родичи уверяли отца в том, что нет ей равной по красоте во всей Германии. А кому было знать это лучше? К тому же взращена она была с великой заботой под надзором двух девственных тетушек, которые на заре своей жизни несколько лет провели при одном из маленьких германских дворов и были искушены во всех отраслях знания, необходимых для воспитания благородной дамы.

Под их руководством она стала чудом совершенства.

Тетушки ее, и сами бывшие в дни своей юности великими чаровницами и кокетками, лучше чем кто бы то ни было подходили для роли бдительных стражей своей племянницы. Редко дозволялось ей отлучаться с их глаз; никогда не смела она перешагнуть границы замка без надежных спутников или, вернее, без надежного надзора; непрестанно читали ей лекции о правилах благопристойности и пользе слепого повиновения, а что касается мужчин — фи! — ее приучали держать их от себя на таком расстоянии, относиться к ним с таким недоверием, что без надлежащего разрешения она и взгляда не кинула бы на красивейшего кавалера в мире, ни за что, хоть бы он умирал у ее ног!

Прекрасные результаты подобной системы были совершенно очевидны. Юная дева была образцом послушания и скромности. Другие растрачивали свою прелесть в блеске суетного света, любая рука могла сорвать их и отбросить прочь; она же скромно наливалась цветом свежей и милой женственности под защитой этих дев, подобно бутону розы, расцветающему под охраной шипов. Тетки глядели на нее с гордостью и торжеством и хвастались, что сбиться с пути могут все девушки в мире, но ничего подобного никогда не случится с наследницей Каценелленбогенов.

Однако, как скупо судьба ни одарила барона фон Ландсхорта детьми, домочадцев у него было немало, ибо провидение наделило его многочисленными бедными родственниками. От первого до последнего все они питали к нему горячую любовь, свойственную скромной родне; они очень трогательно были привязаны к барону и пользовались малейшим предлогом, чтобы слететься роями и оживить своим присутствием замок. Всякое семейное торжество справлялось этим веселым народом за счет барона. Насытившись добрыми яствами, гости неизменно заявляли, что нет на свете ничего восхитительней этих семейных встреч, этих праздников сердца.

Барон хоть был и мал ростом, но душу имел большую, и душа эта вздувалась от блаженного сознания, что он величайший человек в этом мирке, окружавшем его. Он любил рассказывать длинные истории о старых воинах, чьи портреты угрюмо глядели со стен, и не было у него слушателей, равных тем, что пировали на его счет. Он был великим охотником до всего чудесного и твердо верил сказкам о сверхъестественных существах, которыми изобилуют любая гора и любая долина в Германии. А гости в своей доверчивости шли еще дальше его: широко раскрыв глаза и разинув рты, внимали они каждой из этих сказок, неизменно изумляясь, хотя бы неутомимый рассказчик повторял ее в сотый раз. Так жил барон фон Ландсхорт, оракул за своим столом, абсолютный монарх своей маленькой территории, счастливый превыше всего твердым своим убеждением, что он мудрейший человек на свете.

В ту пору, о которой идет речь в моем рассказе, великое сборище родственников в замке происходило по причине чрезвычайной важности: все готовились встретить нареченного жениха бароновой дочери. Отец давно уже вступил в переговоры с одним старым баварским дворянином, намереваясь свадьбой детей скрепить величие двух родов. Подготовительные церемонии были проведены с должной тщательностью. Молодые были помолвлены, хотя не видали еще друг друга; уже назначен был срок для свадебного торжества. Юный граф фон Альтенбург, отозванный ради этого из армии, находился уже на пути к замку барона, дабы обвенчаться с невестой. Уж и послания были получены от него из Вюрцбурга, где он случайно задержался, с указанием дня и часа, когда следует ждать его прибытия.

Замок охвачен был суматохой: все готовились оказать ему достойную встречу. Прекрасную невесту обрядили с необычайной заботливостью. Обе тетки надзирали за ее туалетом и все утро ссорились из-за каждой мелочи в ее наряде. Племянница воспользовалась их пререканиями и последовала указаниям собственного вкуса; к счастью, вкус у нее был хорош. Она выглядела так мило, что ничего лучшего не мог бы пожелать молодой жених, и трепет ожидания усиливал блеск ее красоты. Тетки не отступали от нее ни на шаг. Тьму трезвых советов надавали они ей: как вести себя, что говорить, как ей встретить суженого.

Не менее их озабочен был приготовлениями и барон. Собственно, делать ему ничего не нужно было. С видом бесконечной озабоченности метался он по замку, непрестанно отрывал от дела слуг, поучал их уму-разуму и наполнял гуденьем каждый зал и каждую комнату с праздной

назойливостью и неугомонностью синей мухи в жаркий летний день.

Между тем заколот был откормленный теленок; в лесах раздавались крики охотников; кухня завалена была доброй снедью; погреба выплеснули целые океаны рейнвейна и фернвейна[1]; большая гейдельбергская бочка[2], и та принесла свою дань. Все было готово к тому, чтобы пышно встретить гостя, но гость все медлил и не появлялся. Час катился за часом. Солнце, излившее потоки своих лучей на могучий лес Оденвальда, озаряло уже одни только вершины гор. Барон взошел на самую высокую башню и напрягал свой взор в надежде увидеть вдали графа с его свитой. Один раз почудилось ему, что он увидал их. Звук рога донесся из долины, подхваченный горным эхо. Несколько всадников показалось далеко внизу; они медленно приближались по дороге; но, едва достигнув подножия горы, они вдруг повернули в другом направлении. Последний солнечный луч погас; летучие мыши замелькали в сумерках; дорога затмилась, тускнея все больше и больше; никакого движения не было видно на ней, разве порой протащится крестьянин, возвращаясь с работы.

В то время как старый Ландсхортский замок пребывал в состоянии тревоги, крайне любопытная сцена происходила в дальнем конце Оденвальда.

Юный граф фон Альтенбург спокойно следовал своей дорогой той степенной рысцой, какой и пристало ехать к венцу человеку, которого родные избавили от всех треволнений ухаживания и которого ожидает невеста так же верно, как обед в конце путешествия. В Вюрцбурге он повстречался с молодым товарищем по оружию, с которым служил когда-то вместе на границе. Это был Герман фон Штаркенфауст[3], германский рыцарь с могучей рукой и бесценным сердцем, возвращавшийся из армии. Замок его отца стоял невдалеке от старой Ландсхортской крепости, однако по причине наследственной ссоры обе семьи враждовали и были чужими друг другу.

В час теплой, сердечной встречи друзья поведали о всех пережитых приключениях и боевых удачах, и граф рассказал всю историю своей предстоящей свадьбы с юной девой, которую он никогда не видал, но о чьей прелести наслышан был, получив самые восторженные описания.

Поскольку путь друзей лежал в одном направлении, они решили оставшуюся часть поездки совершить вместе, а чтобы чувствовать себя при этом свободней, выехали из Вюрцбурга ранним утром, причем граф наказал своей свите следовать за ним и догнать его в пути.

Они коротали дорогу воспоминаниями о своих ратных подвигах и приключениях.

Так, беседуя, в'ехали они в горы Оденвальда и пересекли одно из самых глухих его, заросших лесом ущелий. Известно всем, что леса Германии исстари наводнены были разбойниками, как замки ее — привидениями, а в эту пору разбойников было особенно много. Не покажется поэтому странным, что всадники в глубине леса подверглись нападению шайки этих бродяг. Они защищались доблестно, но их совсем уже было одолели, когда им на помощь подоспела графская свита. При виде свиты разбойники ударились в бегство, однако граф успел получить смертельную рану. Его бережно, тихим шагом, препроводили обратно в Вюрцбург, вызвали из соседнего монастыря монаха, прославившегося своим искусством врачевать как душу, так и тело; но все искусство его было напрасно: минуты несчастного графа были сочтены.

Мертвеющими устами умолял он друга сей же час отправиться в Ландсхортский замок и об'яснить роковую причину, помешавшую ему прибыть в условленное время. Не то, чтобы юный граф был чересчур уж пылко влюблен, но он был пунктуальнейшим человеком, и, повидимому, его крайне заботило, чтобы поручение выполнено было спешно и с должной учтивостью. «Пока не будет это сделано, — сказал он, — я не смогу спать покойно в моей могиле!»

Он повторил последние слова с особой торжественностью. Просьба в минуту, столь значительную, исключала всякое колебание. Штаркенфауст постарался успокоить графа, обещался исполнить его волю и в знак торжественной клятвы дал ему руку. Умирающий пожал ее с при-

---

[1] Рейнвейн — сорт немецкого вина; фернвейн — вино, привезенное издалека.

[2] Большая гейдельбергская бочка — чудовищной величины бочка, вместимостью свыше 200 тысяч литров, хранившаяся в погребе Гейдельбергского замка.

[3] Штаркенфауст — «крепкий кулак».

Барон поспешил навстречу своему будущему зятю.

знательностью, но вскоре впал в бредовое состояние; что-то с жаром говорил о невесте, о своем обещании, о нарушенном слове, приказал подать коня, чтобы скакать в Ландсхортский замок, и умер, воображая, что вскакивает в седло.

Штаркенфауст вздохом и скупой слезой солдата почтил безвременную кончину товарища, потом задумался о незадачливом поручении, которое взял на себя. На сердце у него было тяжело, в мыслях — смятение, ибо он должен был явиться незваным гостем в среду недругов и омрачить их празднество роковыми для их надежд вестями. Все же какой-то шепоток любопытства волновал его грудь: ему хотелось уви-

дать ревниво укрываемую от мира прославленную красавицу Каценелленбогенов.

Перед своим от'ездом он договорился с монастырской братией о торжественном погребении друга, который должен был быть похоронен в Вюрцбургском соборе, рядом со славными своими родичами; затем скорбящая свита графа взяла на себя заботу о его останках.

Теперь самое время нам возвратиться к родовитой семье Каценелленбогенов, кои с нетерпением дожидались своего гостя и с еще большим нетерпением обеда, и к маленькому доблестному барону, которого мы покинули прохлаждающимся на верхушке дозорной башни.

Ночь наступила, но гостя все не было. Барон спустился с башни в отчаянии. Обед, откладывавшийся с часу на час, нельзя было откладывать дольше: мясные блюда уже перепрели. Повар был в агонии; все домочадцы с виду напоминали гарнизон, изможденный голодовкой. Нехотя пришлось барону дать распоряжение начать пиршество в отсутствие гостя. Все уселись за стол и готовы уже были начинать, когда звук рога за воротами известил о приближении незнакомца. Второй протяжный звук наполнил отголосками залы старинного замка, и в ответ прозвучал рог дозорного со стены. Барон поспешил навстречу своему будущему зятю.

Под'емный мост был спущен, и прибывший остановился у ворот. Это был высокий, статный всадник на черном коне. Лицом он был бледен, но у него были лучистые, романтические глаза и величавая, задумчивая осанка. Барон уязвлен был несколько тем, что он прибыл так просто, без свиты. На мгновение его достоинство было оскорблено, и он уже готов был усмотреть в этом отсутствие надлежащего уважения к столь значительному случаю и к семейству, с которым тот должен был породниться, однако он успокоил себя соображением, что, видимо, юношеская нетерпеливость заставила его опередить своих слуг.

— Мне жаль, — сказал прибывший, — что я должен так не вовремя нарушить...

Тут барон прервал его потоком комплиментов и приветствий, ибо, правду говоря, он гордился своей учтивостью и красноречием. Прибывший пытался раз — другой остановить поток его речей, но тщетно. Он склонил голову и предоставил этому потоку течь дальше. К тому времени, когда барон сделал паузу, они достигли внутреннего двора замка, и снова гость попытался заговорить, но снова прерван был появлением женской части семейства, сопровождавшей смущенную, зардевшуюся невесту. С минуту глядел он на нее, как завороженный; казалось, вся душа его излилась лучами в этом взгляде и прильнула к этому милому существу. Одна из заботливых тетушек что-то шепнула невесте на ухо; та собралась было с силами, чтобы заговорить, робко приподняла свои влажные синие глаза, они бросили быстрый вопрошающий взгляд на гостя и снова потупились ниц. Слова замерли, но сладостная улыбка, заигравшая на ее устах, и мягкие ямки на щеках показали, что взгляд этот не обманул ее надежд. Могла ли девушка в нежном возрасте, восемнадцати лет, остаться равнодушной при виде такого блестящего кавалера?

Гость прибыл так поздно, что времени для разглагольствований не оставалось. Барон проявил решительность, всякие частные переговоры отложил до утра и немедля открыл запоздавшее пиршество.

Обед сервирован был в большом зале замка. По стенам висели суровые портреты героев из рода Каценелленбогенов и трофеи, добытые ими на поле брани и на охоте: изрубленные панцыри, расщепленные на турнирах пики, изорванные в лоскутья знамена красовались тут вперемежку с добычей лесных потех; могучие оленьи рога раскинули свои ветви над самой головой молодого жениха.

Рыцарь мало обращал внимания на собравшихся и на общее веселье. Он едва прикоснулся к яствам и, казалось, весь поглощен был восторженным созерцанием своей невесты. Он беседовал с ней тихим шопотом, так что никто не слышал его слов, ибо язык любви не бывает громок; женский же слух столь чуток, что всегда уловит тишайший шопот влюбленного. В его манерах была и нежность и серьезность сразу, и это, видимо, оказало могущественное действие на юную госпожу. Румянец то вспыхивал, то потухал на ее лице в то время, как она с глубоким вниманием прислушивалась к его речам. Ясно было, что молодые совершенно влюблены. Тетушки, питавшие глубокий интерес к сердечным тайнам, заявили, что жених и невеста влюбились друг в друга с первого взгляда.

Пиршество шло весело или, по крайней

Обед сервирован был в большом зале замка.

мере, шумно, так как гости наделены были здоровым апетитом, который всегда налицо там, где есть тощие кошельки и горный воздух. Барон рассказывал свои лучшие, самые длинные истории, и никогда еще не рассказывал он их так удачно или с таким успехом. Если речь шла о чем-нибудь чудесном, слушатели его обмирали от изумления, а если встречалось что-то забавное, они дружно покатывались со смеху именно в нужную минуту. Правду говоря, барон, подобно большинству великих людей, имел обыкновение дарить своих слушателей только самыми плоскими шутками, но шутка такая всегда была сдобрена бокалом отменного вина, а можно ли устоять перед шуткой, хотя бы и плоской, если угощает тебя ею за своим столом сам хозяин, да с забористым старым вином в придачу? Остряки победнее отпустили много крепких шуток, которых и не повторишь в другой раз, разве что при таких же обстоятельствах.

Среди всего этого веселья гость сохранял странную и несвоевременную серьезность. На лице его с каждым часом все явственней проступал отпечаток уныния. И, как это ни странно, самые шутки ба-

рона точно усугубляли его меланхолию. Порой он погружался в раздумье, а порой по его беспокойному, блуждающему взгляду видно было, что ему не по себе. Все серьезней и таинственней становилась его беседа с невестой. Тучки стали собираться на ясной глади ее чела, и трепет нет-нет пробегал по нежному ее стану.

Все это не могло ускользнуть от внимания собравшихся. Непонятная сумрачность жениха дохнула холодом на их ликованье; его озабоченность передалась им. Кое-кто обменялся взглядом; кое-кто, пожимая плечами, удивленно кивнул головой. Песни и смех звучали все реже и реже; паузы вкрались в беседу, а на смену паузам пришли страшные рассказы и легенды о сверхъестественных вещах. И каждая ужасная история влекла за собой другую, еще более ужасную, и барон чуть не до истерики напугал кое-кого из дам историей о призрачном всаднике, который увез прекрасную Ленору. Эта страшная история впоследствии изложена была в превосходных стихах, и ее читает теперь с полным доверием целый свет[1].

Жених с глубоким вниманием слушал этот рассказ. Он не сводил глаз с барона и, когда история стала подходить к концу, начал постепенно вставать со своего места, вырастая все выше и выше, пока завороженному взгляду барона не почудилось, будто он превращается в великана. А в тот миг, когда закончился рассказ, рыцарь испустил глубокий вздох и торжественно сказал всем собравшимся «прости». Они оцепенели от изумления. Барон точно поражен был громом:

Как? Покинуть замок в полночь? Ведь все приготовлено! И тихий покой ждет его, если хочет он удалиться!

Гость таинственно и горестно покачал головой:

— В ином покое должен я преклонить главу этой ночью!

Что-то было в этом ответе и в тоне, каким произнес он эти слова, от чего упало сердце у барона, но он собрал все свои силы и повторил свое гостеприимное приглашение.

В ответ на все уговоры гость молчаливо, но решительно качал головой и, снова прощально кивнув собравшимся, медленной поступью вышел вон из зала. Чувствительные тетушки окаменели; невеста потупилась, и слезы блеснули у нее на глазах.

Барон последовал за гостем до большого двора, где черный конь стоял, роя копытом землю и храпя от нетерпения. Когда они достигли портала, крутой свод которого тускло освещен был светильником, гость остановился и обратился к барону глухим голосом, похоронно отдавшимся под каменными сводами.

— Теперь, — сказал он, — когда мы одни, я поведаю вам, почему ухожу. Я дал торжественное, нерушимое обещание...

— Разве нельзя вам послать кого-нибудь другого вместо себя? — спросил барон.

— Никто не может заменить меня. Я должен там присутствовать лично. Мне нужно спешить в Вюрцбургский собор...

— Но ведь время терпит до завтра,— воскликнул барон, воспрянув духом, — а завтра вы повезете туда свою невесту!

— Нет, нет! — ответил гость еще более торжественно. — Обещание мною дано не невесте: червям! Могильные черви ждут меня. Я мертвец, я убит разбойниками. Тело мое лежит в Вюрцбурге. В полночь должны меня хоронить. Я должен сдержать свое слово!

Он вскочил на черного коня, промчался по подъемному мосту, и цокот копыт его скакуна потерялся в свисте ночного ветра.

Барон возвратился в зал совершенно потрясенный и рассказал, что произошло. Две дамы тотчас лишились чувств, другим при мысли о том, что они пировали с призраком, стало дурно. Многие держались того мнения, что это был скорее всего дикий всадник, герой немецких легенд. Иные толковали о горных духах, о лесовиках и прочих сверхъестественных существах, которые с незапамятных времен тревожили честный немецкий народ. Один бедный родственник решился высказать предположение, что это просто шутливая выходка молодого рыцаря и что мрачная прихоть эта вполне подстать такому угрюмому гостю. Однако это навлекло на него негодование всех собравшихся и в особенности барона, который счел эти слова чуть ли не кощунством. Он поспешно отверг эту ересь и присоединился к мнению истинно верующих.

Но если оставались еще какие-либо сомнения, они окончательно рассеялись, когда на другой день получены были достоверные сообщения, подтвердившие весть об

[1] Речь идет об известной балладе немецкого поэта Бюргера «Ленора». На русский язык эта баллада переведена Жуковским.

убийстве юного графа и о погребении его в Вюрцбургском соборе.

Можно представить себе ужас, воцарившийся в замке! Барон заперся у себя в комнате. Гости, прибывшие, чтобы разделить его радость, и думать не могли о том, чтобы покинуть его в беде. Они бродили по дворам или кучками собирались в зале, покачивали головами, подергивали плечами, толкуя о горестях, постигших бедного барона; дольше, чем когда бы то ни было, они засиживались за столом и ели и пили больше обычного, стараясь как-нибудь поддержать свой дух. Но наибольшего сожаления заслуживала участь овдовевшей невесты. Потерять супруга, не успев его даже обнять, и какого супруга! Если столь благороден и мил был его призрак, каким же мог быть живой человек! Несчастливая невеста наполняла рыданиями весь дом.

Вечером на второй день своего вдовства она удалилась к себе в комнату в сопровождении одной из тетушек, которая непременно хотела спать с ней вместе. Тетка эта, одна из лучших рассказчиц историй про духов во всей Германии, принялась рассказывать самую длинную свою легенду и уснула на середине. Комната была дальняя и выходила в маленький сад. Племянница лежала, задумчиво глядя на свет восходящей луны, дрожащий на листьях осины за переплетом окна. Башенные часы только что пробили полночь, когда тихие звуки музыки донеслись из сада. Девушка поспешно встала с постели и тихо подошла к окну. Высокая фигура стояла в тени деревьев. Когда фигура эта подняла голову, лунный луч упал на лицо. Святое небо! Под окном стоял жених-призрак! Громкий вопль в тот же миг потряс слух невесты, и тетка, которая разбужена была музыкой и бесшумно последовала за ней к окну, упала ей на руки. Когда невеста взглянула снова, призрак уже исчез.

Труднее всего было успокоить тетушку, ибо она была положительно вне себя от ужаса. Для юной ее воспитанницы что-то чарующее было даже и в призраке возлюбленного. Обличье прежней мужественной красоты сохранилось в нем. И хотя тень человека лишь в малой степени может утолить любовь девушки, даже присутствие этой тени было утешительно для нее. Тетка заявила, что никогда не согласится снова лечь спать в этой комнате, но племянница на этот раз выказала непокорство и так же решительно заявила, что не будет спать нигде, кроме как в этой комнате, вследствие чего ей пришлось спать там одной. Но она взяла с тетки слово, что та никому не расскажет истории с привидением, чтобы осталось ей хоть это последнее скорбное утешение—жить в комнате, под окном которой по ночам тень возлюбленного стоит на страже.

Под окном стоял жених-призрак.

Неизвестно, как долго добрая старая дама хранила бы эту тайну, потому что уж очень любила она толковать о чудесном. И кому же не лестно первым рассказать такую страшную историю! Все же по сей день вспоминают по соседству о великом примере женской выдержки, который она явила миру, ибо у нее хватило сил беречь свою тайну в течение целой недели. Но тут внезапно она освобождена была от своего обета известием, полученным во время завтрака, — вестью о том, что юной девы нет и нигде ее не могут найти! Комната ее пуста, постель не смята, окно открыто, и птичка улетела!

Только тот, кто видел, в какое смяте-

ние повергает друзей несчастье великого человека, только тот поймет, с каким отчаянием и сочувствием была встречена эта весть. Бедные родственники прервали даже свои неутомимые застольные труды, и тут-то тетка, лишившаяся было речи в первую минуту, вскричала, ломая руки:

— Это призрак! Это призрак! Это призрак увез ее!

В нескольких словах она рассказала о страшной сцене в саду и закончила тем, что призрак, конечно, и увез свою невесту. Двое слуг подтвердили это заключение, ибо они слышали около полуночи стук копыт и не сомневались, что это был призрак на черном коне, увозивший свою невесту в могилу. Все присутствующие потрясены были страшным предположением, потому что события такого рода часто случаются в Германии, по свидетельству многих достоверных рассказов.

Как прискорбно было положение бедного барона! Какой сокрушающий сердце вопрос стал перед любящим отцом и членом славного рода Каценелленбогенов! Унесена ли его единственная дочь в могилу? Или суждено ему иметь зятем лесного демона, а вдобавок, чего доброго, заполучить ватагу внуков-лесовичков! Он совершенно обезумел, и весь замок охвачен был смятением. Слугам был отдан приказ вскочить на коней и обрыскать все дороги, тропы и долины Оденвальда. Барон и сам натянул уже ботфорты, опоясался мечом и готов уже был сесть на своего скакуна, чтобы выехать на сомнительные поиски, как вдруг остановлен был новым явлением. К замку приближалась женщина на парадном коне в сопровождении рыцаря, следовавшего тоже верхом. Она подскакала к воротам, спрыгнула со своего коня и, пав к ногам барона, обняла его колени. Это была пропавшая дочь, и спутником ее был жених-призрак! Барон оторопел. Он посмотрел на дочь, потом на призрак, почти не веря своим глазам. Призрак к тому же чудесным образом изменился, после того как навестил мир духов. На нем было великолепное платье, подчеркивавшее его благородную осанку и мужественную красоту. Ни бледности, ни тоски не было на его лице: оно пылало всем блеском молодости, и веселье бушевало в его больших черных глазах.

Тайна вскоре прояснилась. Рыцарь (ибо, как вы могли уже догадаться, никогда не был привидением) назвался Германом фон Штаркенфаустом. Он поведал, как погиб молодой граф. Он рассказал, как спешил в замок, чтобы передать роковую весть, и как красноречие барона прерывало его, едва пытался он начать свой рассказ. Увидев невесту, он совершенно пленен был ею и, ради того чтобы провести подле нее несколько часов, молчанием своим позволил продлиться ошибке. Он был жестоко озабочен, не видя достойного пути к отступлению, пока рассказы барона о привидениях не подсказали ему необычайного выхода. Опасаясь старинной вражды между их семьями, он повторял свои посещения украдкой, появлялся как призрак в саду под окном юной девы, ухаживал за ней, победил ее сердце, увез ее и, наконец, обвенчался с красавицей.

При всяких иных обстоятельствах барон остался бы непреклонен, ибо он превыше всего ставил отцовскую власть и благоговейно поддерживал все родовые распри, но он любил свою дочь, он горько скорбел об ее утрате, для него счастьем было увидеть ее живой. И, хотя супруг ее и принадлежал к враждебному роду, все же, милостью неба, он оказался не призраком. Было, правду сказать, в этой шутке, что сыграл с ним рыцарь, нечто несовместимое с его представлениями о правдивости и прямоте, но старые друзья, побывавшие на войне, заверили его, что в любви простительна всякая стратегическая хитрость; рыцарь же заслуживает особого снисхождения, так как недавно совсем покинул военную службу.

Поэтому все уладилось счастливо. Барон тут же простил молодую пару. Пир в замке возобновился. Все бедные родственники осыпали нового члена семьи признаниями в нежной любви: ведь он был так доблестен, так щедр и так богат! Тетушки, правда, несколько сконфужены были тем, что так плохо оправдала себя их система строгого уединения и бесстрастного послушания, но они приписали неудачу простому недосмотру, тому, что в окна позабыли вставить решетки. Одну из тетушек пуще всего удручало, что испорчена ее сверхъестественная история и единственный призрак, которого довелось ей увидеть, оказался поддельным; зато племянница, видимо, вполне была счастлива, обнаружив, что призрак скроен из настоящей плоти и в жилах его течет настоящая кровь. А потому всей истории конец.

Схема прыжка на 42 метра.

Прыжки на лыжах

И. А. Черепов, старший научный сотрудник ЦНИИФК

Можно ли перепрыгнуть на лыжах через дом или через дерево? Почему лыжник не разбивается при прыжках с высоты 50 метров? Можно ли спрыгнуть на лыжах с крыши пятиэтажного дома? Какой высоты бывают прыжки на лыжах? С такими вопросами ко мне довольно часто обращались не только ребята, но и взрослые, не посвященные в «тайны» лыжного спорта.

Почему-то прыжки на лыжах смешивают с прыжками блохи — огромными в сравнении с размерами этого вредного насекомого. Блоха силой своих ног легко прыгает в высоту, превышающую сто ее ростов. Человек силой своих ног может подпрыгнуть только немного выше своего роста (и то после долгой, специальной тренировки). В прыжках же на лыжах удается прыгать очень далеко, в основном, за счет большого разгона по горе. При этом самый прыжок направлен не кверху, не в высоту, а в длину и вниз.

На рисунке показана схема устройства горы для прыжков на лыжах. Верхняя часть профиля горы называется горой разгона. Это отлогий спуск с выкатом на площадку трамплина Т, или, как его принято называть, «прыжковый стол». Прыжковый стол делается горизонтальным или с небольшим уклоном вниз (не более 6°) и обрывается уступом. Отсюда и начинается полет над нижней частью горы, которая называется горой приземления. Прыгун пролетает над верхней, выпуклой частью дорожки приземления и опускается снова на снег в точке П — наиболее крутой части горы. Дальше он вновь катится на лыжах и через выкат выходит на ровную площадку для остановки.

Размеры горы для прыжков могут быть самые различные. Так как длина прыжка на лыжах зависит главным образом от размеров горы, на которой прыгают, возможно делать трамплины для различных прыжков. Маленькие трамплины для прыжков, длиной в 3—5 метров, легко сделать почти на любой маленькой горке. Для этого на склоне устраивают из снега прыжковый стол.

Если удалось подобрать горку с профилем, похожим на изображенный на нашем рисунке, достаточно сгрести и утрамбовать лыжами снег для прыжкового стола с уступом высотой в 30—50 сантиметров. Получится очень хороший трамплинчик для небольших прыжков.

Надо всегда помнить, что место для приземления должно быть на склоне. Никуда не годятся трамплины, если прыжковый стол устроен внизу горы, на ровной площадке: с такого трамплина нельзя далеко прыгнуть и легко сломать лыжи при приземлении; получится прыжок кверху и сильный удар при опускании на снег. По той же причине нельзя прыгать на лыжах с крыши. Чем больше гора для прыжков, тем круче должен быть склон горы приземления. На больших трамплинах его крутизна доходит до 35—38°. Это необходимо

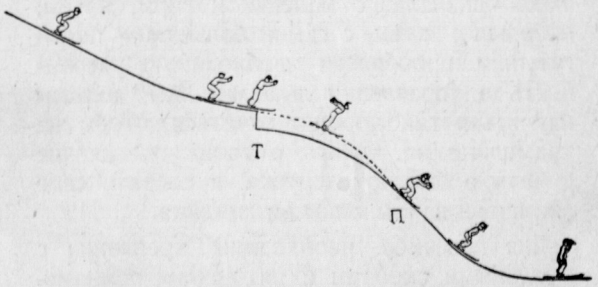


Схема трамплина. Обратите внимание на то, где устроен трамплин.

1. 2. 3. 4.

Московский прыгун П. Родионов делает сорокаметровый прыжок.

для того, чтобы было легче удержаться на ногах после прыжка. Опускаясь на крутой склон, лыжник почти не ощущает толчка и, легко пружиня ногами, продолжает спуск так же спокойно, как будто бы он и не прерывался полетом.

Благодаря тому что лыжник при скатывании с горы разгона развивает скорость, он, даже без всяких усилий, может сделать небольшой прыжок. Но искусство прыгуна заключается не только в скатывании: ему нужно с помощью толчка при взлете сделать свой прыжок как можно длиннее. В этом и заключаются соревнования в прыжках на лыжах. На трамплине для соревнований предоставляется одинаковый разгон для всех участников, и только от их ловкости зависит величина прыжка.

Кто из вас видел прыжки на лыжах, тому надолго запомнилось прекрасное зрелище полета прыгуна. Большие прыжки производятся на значительной скорости. Лыжник в момент прохождения прыжкового стола мчится со скоростью 20—25 метров в секунду, или 72—90 километров в час. Когда лыжник пролетает мимо вас, слышен свист рассекаемого им воздуха. При этом он так сильно наклоняется вперед, что как бы ложится на воздух, используя его сопротивление для удлинения полета, как планер.

Как же научиться хорошо прыгать?

Начнем с катания с гор. Спуски на лыжах — сначала, с маленькой горы, затем, побольше, затем, с самой большой — помогут нам приобрести необходимую уверенность в управлении лыжами. Мы должны научиться так хорошо кататься, чтобы на трамплине не думать о своих лыжах, не думать о быстроте спуска, а собрать свое внимание на выполнении прыжка.

Для прыжков необходимы крепления с железными скобами и пяточными ремнями. Маленькие прыжки можно делать на горных лыжах. Специальные, прыжковые лыжи нужны для прыжков дальше чем на 20 метров. Лыжные ботинки на толстой подошве лучше чем подшитые валенки. Палки оставим на горе: они для прыжков ненужны, а рукавицы обязательно наденем.

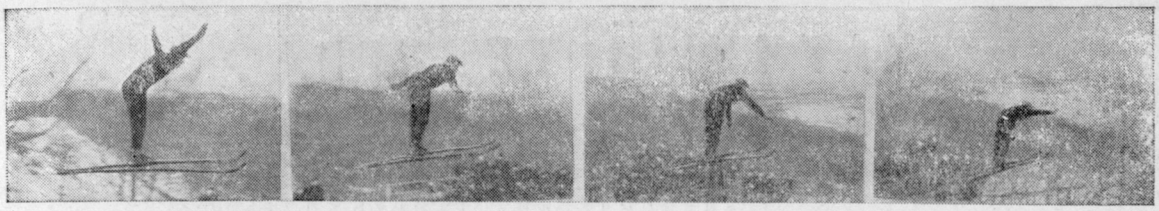
Каковы бы ни были размеры нашего трамплина, перед тем как прыгать, надо тщательно утоптать лыжами снег на всех дорожках и на прыжковом столе: более плотный снег меньше проваливается под лыжами, и на нем легче устоять, легче управлять лыжами. Топтать надо поперек склона, поднимаясь и опускаясь «лесенкой» по дорожкам. Если на дорожке образовались ямы от падений или просто от удара лыж при приземлении, их надо тщательно заровнять и утоптать. Дорожка приземления должна быть такой ровной, чтобы при спуске по ней (без прыжка) «не шелохнуло». Все дорожки должны быть расположены по прямой линии, без поворотов или извилин.

Перед тем как впервые прыгать с трамплина, надо хорошенько запомнить особенности лыжного прыжка, отличающие его от обычных прыжков в длину с места. В этом нам поможет серия фотографий, показывающая выполнение взлета одного из лучших московских прыгунов, П. Родионова, при 40-метровом прыжке с московского трамплина.

У самого края прыжкового стола лыжник быстро выпрямляет ноги, сохраняя корпус сильно наклоненным вперед. Во время полета он все больше и больше наклоняется вперед. При маленьких прыжках так наклонять тело вперед не надо: можно прыгать почти выпрямившись, сохранив только такой наклон, чтобы в момент приземления, на крутом приземлении, не убежали вперед лыжи и не упасть на спину. При больших прыжках необходим наклон тела, показанный на наших фотографиях, иначе сопротивление воздуха может опрокинуть прыгуна назад и сильно задержать скорость его движения, следовательно, сократить длину прыжка.

Кроме наклона тела при взлете обратим

5. 6. 7. 8.



Снимки взяты из кинофильма.

внимание на положение ступней ног при толчке. На фото 4 на краю прыжкового стола ноги стоят на лыжах всей ступней. Такое же положение остается на последующих фото: 5, 6, 7 и 8. Значит, прыгун толкается не с носка, не пальцами ног (как это принято в обычных прыжках с места), а с пятки. Это — очень важное условие для прыжка на лыжах: благодаря ему сохраняется ровное положение лыж в воздухе, легче создается нужный наклон тела в начале прыжка, меньше заботы о лыжах в полете и легче приземлиться. Этот момент взлета—толчок с пяток—несмотря на свою простоту не так легок с первого раза. Просто о нем забывается, так как внимание занято и полетом и заботой об удачном приземлении. Но надо помнить, что в прыжках на лыжах взлет определяет все: и легкость выполнения и результат.

Чтобы лучше понять это движение и его запомнить, надо снять лыжи и прыгнуть несколько раз с небольшого пригорка с места без лыж. Толчок делать с пятки, подтягивая носки.

Руки при взлете быстро идут снизу (фото 3), вперед (фото 4), вверх (фото 5) и, не останавливаясь, продолжают более плавно кружение назад (фото 6), вниз (7), вперед (8) и так дальше, до конца полета.

Освоившись с техникой взлета и попробовав выполнить это движение без лыж, мы можем подняться на маленький трамплин. Протрем лыжи о снег, чтобы не было подлипа, и спустимся вниз. На спуске сразу присядем в спокойное, ненапряженное положение, сохраняемое на всей длине разгона (фото 1). Лыжи скользят близко одна к другой (не дальше чем на 10 сантиметров), колени сжаты вместе. Вспоминая нужное движение для взлета, внимательно смотрим на приближающийся край прыжкового стола, чтобы не опоздать с толчком, наклоняемся вперед и выпрямляем ноги. Толчок делаем спокойно и нерезко. Потом, когда мы научимся прыжку, нам будет нетрудно вложить в толчок больше силы.

Разгон проходится очень быстро, в каких-нибудь 5—8 секунд. И вот вы взлетаете в воздух. Это ваш первый полет, и не будет ничего удивительного, если вы немного растеряетесь, ослабите ноги и ляпнетесь при приземлении. Все равно, вы никогда не забудете первого прыжка, так он вас захватит. Зато вы сейчас же заберетесь на трамплин во второй раз и теперь запомните нужное положение в воздухе. На схеме показан полет на 42 метра того же П. Родионова. Здесь зарисованы отдельные моменты, снятые киноаппаратом. Быстро выпрямившись при взлете, лыжник плавно кружит руками, сохраняя большой наклон тела, прямые и напряженные ноги во время большей части полета. Только приближаясь к склону (положение 11, 12 и 13), он выпрямляет корпус, готовясь к приземлению.

Новички в прыжках часто боятся приземления. Надо заметить, что это очень просто и нетрудно, если правильно выполнен взлет и уверенно и спокойно проведен полет. Лыжник, приседая, смягчает, спружинивает удар лыжами о снег. Очень полезно для лучшей устойчивости приземления делать выпад одной ногой вперед в момент соприкосновения лыж со снегом.

Интересный вопрос: каких пределов можно достигнуть в прыжках на лыжах? Ведь гору можно построить любых размеров. Известны результаты прыжков на специальных больших трамплинах в 101 и 103,5 метра. Мировые рекорды принадлежат норвежским лыжникам. В СССР пока больших трамплинов не строили. Самый крупный построен в Ленинграде, на нем ленинградец Медведев достиг длины прыжка в 54,5 метра. Длина прыжка измеряется от верхнего края уступа прыжкового стола по склону до места приземления лыжника.

НАУЧНЫЙ ТЕЛЕГРАФ

ПОСЛЕДНИЕ ВЕСТИ ИЗ НАУК
БИОЛОГИЧЕСКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ

БОТАНИКА

Закаливание растений

Многие полезные растения не растут еще на территории нашего Союза. Нет какао, из которого делают шоколад и ценное масло. Нет ананасов. Не вызревают бананы. Не дорастает до взрослого состояния хинное дерево.

Для всех этих тропических уроженцев слишком суров наш климат: они не переносят наших зим.

Десятилетиями люди мирились с этим как будто бы простым об'яснением: такое-то растение не переносит холода.

Неужели не мыслимо найти способ сделать теплолюбивое растение более устойчивым к холоду?

Советские ботаники решили попытаться переделать растения. Прежде всего следовало разрешить вопрос, почему одни растения более чувствительны к холоду чем другие.

Оказалось, что чем меньше воды в протоплазме, то есть в живом веществе растения, тем меньше боится оно морозов. Сухие семена, споры, бактерии выдерживают самую низкую температуру. Когда же воды много, то она вымерзает из протоплазмы ввиде ледяных иголочек и убивает ее.

Значит, надо уменьшить влажность протоплазмы. Но как?

Тут было сделано второе открытие. Влажность протоплазмы зависит от ее химического состава. Чем больше в ней калия, меди, цинка, бора и некоторых других элементов, тем меньше воды.

Итак, надо найти способ вводить эти вещества в растения. Это оказалось очень просто. Нужными веществами удобряется земля, они растворятся, и растение впитает их с водой. Калия требуется довольно много, а остальных элементов очень мало.

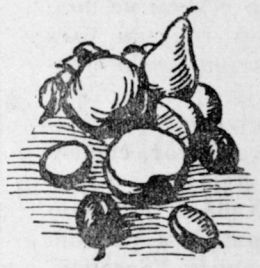
«Закаливание растений» — так назвали этот способ, разработанный в Ботаническом институте Академии наук СССР.

Сейчас Институт занят опытами по закаливанию цитрусовых, то есть лимонов, апельсинов, мандаринов. На юге СССР много цитрусовых план-

таций. Но во время заморозков приходится заворачивать деревья в рогожи, жечь в садах костры. С закаленными деревьями можно будет не бояться мороза.

Закаливание растений только что открыто. В Институте едва закончены первые опыты. Когда все неясные вопросы удастся разрешить, новый способ можно будет применять не только в лабораториях, но и на опытных участках, в колхозных и совхозных садах.

Плоды из неопыленных цветов



Для того чтобы из цветка получился плод, нужно, чтобы цветок был опылен: на рыльце его пестика должна попасть пыльца с тычинок. Иначе никакого плода не разовьется, цветок останется пустоцветом. Это общеизвестная истина, о которой хорошо знают любой огородник и садовник, о ней можно прочесть во всех учебниках ботаники.

Каково же было удивление ученых, когда малоизвестный ботаник Ф. Густафсон сделал в Национальной академии наук США доклад о том, что им получены плоды из неопыленных цветов!

Еще больше удивлялись они, глядя на плоды, фрукты, ягоды и овощи, показанные докладчиком. Выращенные необыкновенным способом, они оказались необыкновенны и на вид. В большинстве их не было ни семечек, ни косточек и только в некоторых очень маленькие, неразвившиеся. Место их занимала с'едобная, вкусная мякоть. В помидорах, например, не было обычных полостей, наполненных соком с семечками: они сплошь состояли из плотного «мяса», были ароматнее и легче выдерживали перевозку.

Как же удалось Густафсону вырастить эти странные плоды?

Есть химические вещества, которые участвуют в росте растения, — они как-то вызывают и поддерживают рост, и без них растение осталось бы карликовым. Эти вещества называют «гормонами роста». Ими-то и воспользовался американский ученый: он отрезал у пестика рыльце, а место среза покрывал мазью с кислотами, химически схожими с гормоном роста. Кислоты проникали внутрь завязи и вызывали развитие всех ее частей кроме самих семян.

Это поразительное открытие имеет не только научное значение. Сейчас необыкновенные, в полном смысле слова «искусственно» выращенные плоды существуют только в лаборатории Густафсона. Но возможно, что недалеко то время, когда мы увидим их и в лавках и на своем столе. Американский журнал «Известия Академии наук» утверждает, что эти плоды питательнее, вкуснее и лучше сохраняются чем обычные.

М Е Д И Ц И Н А

Лечение ипритом

22 апреля 1915 года вошло в историю как день одного из величайших преступлений против человечества: в этот день на западном фронте, под Лангемарком, германцы выпустили на французские позиции облака

удушающего газа — хлора. Это была первая газовая атака. За ней последовали другие, а 12—13 июня 1917 года под Ипром немцы впервые применили одно из самых страшных отравляющих веществ — горчичный газ, или иприт.

После окончания мировой империалистической войны в капиталистических странах не забыли об иприте: итальянские фашисты уничтожали им целые селения беззащитных абиссинцев, германские фашисты завозят его в Испанию, чтобы при первом удобном случае пустить в дело против республиканцев, защищающих свою родину.

И вот для этого вещества, с помощью которого империалисты калечат и уничтожают тысячи человеческих жизней, советские врачи нашли применение, полезное и благодетельное для человека.

Многие хронические болезни горла и носа до сих пор совсем не поддавались лечению. Заболевший, например, туберкулезом гортани был почти обречен на смерть. Другие болезни излечивались не вполне и с огромным трудом.

Способ лечить такие болезни открыли недавно советские ученые и врачи в Иркутском медицинском институте. Заключается этот способ в применении микроскопических доз... иприта.

Еще раньше наши врачи начали применять хлор. Хлором успешно лечат дифтерию и другие болезни, предохраняют от гриппа и распознают предрасположение к раку — одной из самых страшных болезней.

Те самые вещества, которые в капиталистических странах используются для уничтожения людей, наша наука применяет на благо человечества.

ГЕОГРАФИЯ

Озеро-море

Первое странное открытие было сделано 60 лет тому назад — в 1877 году. В пресном озере, на северном острове Кильдине, в Баренцевом море, нашли, к изумлению ученых, маленького морского рака-пикногона, который живет в Баренцевом море на большой глубине, считается настоящим морским жителем и никогда не встречается в озерах да тем более пресных.

За первым открытием вскоре последовало второе. В озере поймали необыкновенную рыбу: с огромной головой, широкой пастью и большими усами. Рыба оказалась треской, тоже морской житель, а не пресноводная рыба. И была эта треска какая-то особенная, непохожая на обычную.

Наконец, один турист выловил в этом странном озере маленькое животное, похожее на бесформенный комочек. И опять это было морское животное — асцидия. И опять особенная асцидия, непохожая на обычные. Такие асцидии жили несколько тысячелетий тому назад в Баренцевом море!

Ученые очень заинтересовались удивительным озером. На далекий остров в Баренцевом море поехали специалисты.

Серый, угрюмый остров Кильдин напоминает вершину гигантской гранитной скалы: так высоки его берега, так голы каменные равнины острова. На скалах лишайники, в котловинах немного черники, клюквы, се-

верные ромашки и незабудки с огромными цветами. Их стебли прижаты к земле: они словно прячутся от ветра. Но корни их как железные держатся за каменистую почву.

На дне одной из таких котловин и лежит озеро Могильное. Даже по внешнему виду оно кажется необыкновенным. Вода в нем зеленая и прозрачная, как в море, темнолиловая, почти черная, на мелких местах всегда неподвижная: озеро, закрытое от ветра высоким барьером из валунов, никогда не волнуется.

И вот оказалось, что это маленькое северное озеро кое в чем в самом деле напоминает... Черное море! Дно его покрыто вязким илом, который выделяет удушливый газ — сероводород. Глубины Черного моря, как известно, тоже отравлены сероводородом.

Но что уже было совершенно загадочным, так это то, что вода над илом в озере соленая, совсем как морская, а на поверхности совершенно пресная.

В вязком иле, покрывающем дно котловины и пахнущем резко и неприятно, живет множество бактерий. Это особенные бактерии, их называют пурпурными. Пурпурные бактерии замечательны тем, что не дают сероводороду заражать воду над илом.

А в этом соленом слое ученые нашли настоящих морских животных. Только каждое из них было гораздо меньших размеров чем его морской родственник. Крошечное озеро с крошечными животными!

На крутых склонах дна зеленеют миниатюрные фикусы, алеют пышные заросли пурпурных — тоже крошечных — водорослей ламинарий. Лиллипутская морская звезда быстро подвигается по дну, приподнимая время от времени кончики лучей; она смотрит ими: на лучах у нее глаза. Дно усеяно голубыми и розовыми ракушками. Быстрыми прыжками двигаются бесчисленные пестрые морские раки. Маленькая морская анемона-актиния, распустив пучок изящных светлобелых щупалец, проплывает на раковинке рака-отшельника.

В зарослях водорослей ученые нашли и плоскую, неуклюжую камбалу. Хищная треска забыла в озере свои морские привычки. Обычно она питается рыбой, но треска из озера Могильное неутомимо гоняется за крошечными рачками-бокоплавами. Ее так и не смогли поймать на приманку-рыбку.

И все это разнообразное морское население оживленно суетится, прыгает, пожирает друг друга в тонком слое воды, метров в 5—6. Похоже это на морской аквариум, умело заселенный самыми интересными морскими животными, уменьшенными тоже подстать размерам аквариума.

Остальная толща воды, до самой поверхности, пресна, и живет в ней немного пресноводных животных — гораздо меньше чем в морском слое. Здесь плавают «водяные блохи» — дафнии, хорошо известные любителям аквариумных рыбок.

Как могло возникнуть такое озеро с его слоистой водой и крошечными древними животными, давным-давно вымершими в других местах?

Озеро Могильное — остаток древнего океана. Геологи утверждают, что несколько миллионов лет назад отступило и уменьшилось гигантское Полярное море, которое было гораздо больше всех наших северных морей, взятых вместе. И вот свидетелем этого отступления моря осталось озеро Могильное, где самая большая глубина — 11—14 метров. Слой древней, соленой воды лежит на его дне. Тысячелетиями идущее разложение остатков животных заразило сероводородом его ил. А морские животные, давно исчезнувшие в открытом море, сохранились в озере как в естественном музее; только в крошечном озере они стали меньше чем их предки, обитатели Полярного океана.

Германия под фашистским сапогом

С. Гарбузов

Рейхстаг в огне

К 27 февраля 1933 года все отряды штурмовиков (так называются вооруженные фашистские банды) были приведены в боевую готовность. Все фашистские начальники собрались в Берлине, будто они заранее знали, что в этот день должно случиться что-то важное.

И действительно. Между 10 и 11 часами вечера весь Берлин облетела весть о том, что горит рейхстаг.

Огромное здание еще пылало, а уж радио, телеграф, телефон, экстренные выпуски газет, по приказанию правительства, сообщали всему миру о том, что рейхстаг подожгли коммунисты.

Почти одновременно с пожарными машинами на улицы Берлина (да и других городов Германии) вылетели грузовики с вооруженными штурмовиками. По заранее составленным спискам и заранее разработанному плану, штурмовики хватали коммунистов, социалистов и всех других противников фашизма.

Штурмовики связывали своим пленникам руки и ноги, швыряли их в машины и отвозили в свои казармы и полицейские участки. Там все уж было готово для «приема» тысяч арестованных — и камеры и орудия пыток: веревки, резиновые дубинки, плети с вплетенными в них свинцовыми гирьками, острые железные прутья.

За месяц до этого дня президент республики генерал Гинденбург назначил главаря фашистов Гитлера главой правительства. Но формально Германия была еще республикой и управлялась по старым законам. Предстояли выборы в рейхстаг. Гитлер боялся, что на этих выборах фашисты провалятся. Надо было найти повод, чтобы отменить конституцию, расправиться с коммунистами, социалистами и другими врагами фашизма и установить ничем не прикрытую фашистскую власть насилия и произвола.

И тогда один из фашистских начальников—Геринг—предложил поджечь рейхстаг, а вину за поджог свалить на коммунистов. Он же придумал и осуществил план поджога.

Геринг был тогда председателем рейхстага. Дом председателя стоял против здания рейхстага, на другой стороне улицы. Подземный ход из этого дома вел к залу заседаний рейхстага.

27 февраля, днем, несколько главарей штурмовых отрядов собралось в доме Геринга.

Геринг распорядился, чтобы служители рейхстага ушли с работы раньше обычного времени, и тогда поджигатели принялись за работу. Они пронесли по подземному ходу и рассовали по всем углам здания мешки с горючими материалами, облили стулья, кресла и другие деревянные предметы керосином. Потом при помощи горящих факелов одновременно в нескольких местах подожгли зал заседаний и другие помещения рейхстага.

Поджигатели привели в рейхстаг и оставили там полуслепого, полусумасшедшего молодого голландца ван-дер-Люббе. Ему приказали стоять на одном месте, пока не придут полицейские и не арестуют его. А потом он должен был выдать себя за коммуниста и «признаться», что это именно он поджог рейхстаг.

Пламя, взвившееся над зданием рейхстага, послужило сигналом к расправе. Аресты, начавшиеся в эту ночь, продолжались и на другой и на третий день.

Тюрьмы, полицейские застенки и казармы штурмовиков переполнились арестованными. Фашисты устроили огромные концентрационные лагери. За ограду из колючей проволоки загонялись десятки тысяч людей. Озверелые фашистские банды врывались в помещения рабочих организаций, громили их, растаскивали имущество.

Так пришли фашисты к власти. Кровью и пожарами отмечены их первые шаги. Такими же разбойничьими подвигами отмечен весь их путь.

Почти сто лет тому назад Генрих Гейне писал о прусской армии:

«Все тот же дубовый и точный народ.
Попрежнему их движенья
Прямоугольны, а на лице
Застывшее самомненье.
Все так же навытяжку ходят — прямы,
Как свечи, в узкой одежде,
Как будто проглотили прут,
Которым их били прежде».

Фашистская армия и по духу и по внешнему виду в точности копирует старую прусскую армию.

За спиной у поджигателей

До того как фашисты захватили власть, они не скупились на обещания. Рабочим они обещали уничтожить безработицу и увеличить заработную плату. Крестьянам — уменьшить налоги, уменьшить плату за аренду земли (в Германии бóльшая часть земли принадлежит помещикам и всяким графам да князьям). Мелким торговцам фашисты обещали, что они закроют большие универсальные магазины, с которыми мелким торговцам конкурировать было не подсилу.

Ни одного из этих обещаний фашисты не сдержали.

Зато их вожаки свято выполняют обещание, которое тайком от народа дали крупным капиталистам, — всеми силами готовить новую войну.

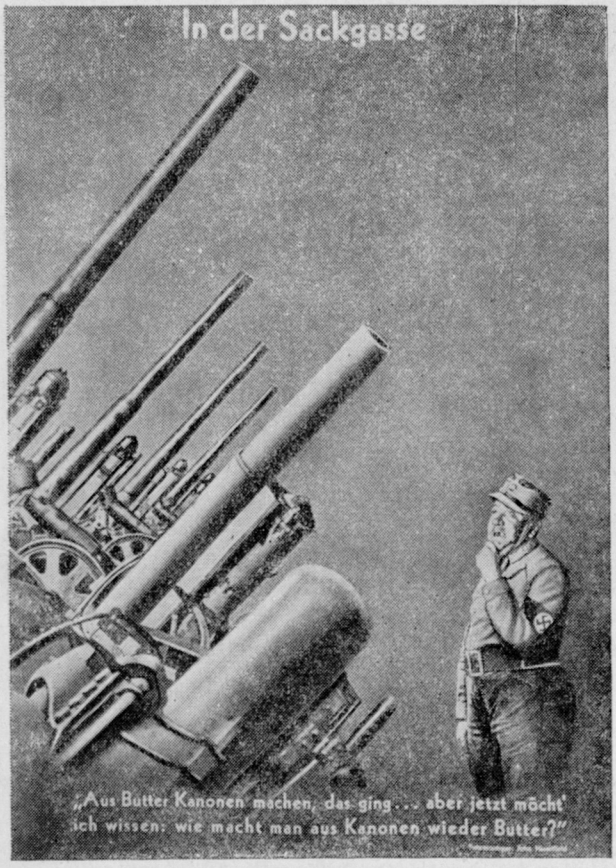
Крупные капиталисты — вот кто настоящие хозяева Гитлера, Геринга, Геббельса и вообще всех фашистов.

Рурский бассейн — промышленное сердце Германии. Правит Руром стальной король — Тиссен. Ему принадлежат многочисленные доменные и мартеновские печи, прокатные станы, шахты и земли. На него работают десятки тысяч рабочих. Этот Тиссен был одним из первых членов фашистской партии. Он давал Гитлеру деньги на создание первых штурмовых отрядов. Когда в 1930 году, во время выборов, дела фашистов шли неважно, Тиссен в три дня собрал и передал фашистам три миллиона рублей, чтобы они могли во время выборов обмануть и подкупить побольше избирателей.

Пушечный фабрикант Крупп, хозяин многочисленных угольных шахт Кордоф, крупные помещики Восточной Пруссии и владельцы огромных универмагов (тех самых универмагов, закрыть которые обещал Гитлер мелким торговцам) — вот кто стоит за спиной у фашистских поджигателей.

Тиссен, Крупп и другие покровители и начальники фашистов только и думают, что о новой мировой войне. Война еще больше увеличит их богатства. Они будут продавать государству оружие и снаряжение и брать за него втридорога, а в случае успеха война принесет им новые земли, богатые полезными ископаемыми, и рынки для продажи своих товаров.

Разгромить революционное движение, подготовиться и начать новую войну — вот наказ, который дали фашистам капиталисты. Вот для чего поставили они фашистов у власти. И фашистская власть —



«Из масла сделать пушки — это можно... Но хотел бы я знать, как из пушек сделать масло?»

Фотомонтаж Джона Гартфильда

это основанное на прямом насилии и произволе хозяйничанье фабрикантов оружия, банкиров, стальных, угольных и других королей.

Все для войны

Недавно в одной немецкой газете был напечатан «рецепт», пользуясь которым можно «дожить до ста лет». По словам автора рецепта, это очень просто. Нужно только поступать так, как будто бы поступают некоторые старцы в Албании и Югославии, — питаться бобами и луком!

Таких «рецептов» в фашистских газетах появилось великое множество. Одни газеты уверяют своих читателей, что конское мясо куда вкуснее и питательнее говядины, другие утверждают, что полезнее вообще обходиться без мяса и жиров, третьи — печатают длинные статьи под заголовком «Назад к деревянному башмаку», в которых уговаривают народ носить деревянные башмаки: они, мол, лучше, изящней и гигиеничней кожаных.

В новой поваренной книге, которая вышла в Берлине, совсем не говорится о блюдах, для приготовления которых нужны мясо, масло, сахар или яйца. Зато из нее можно узнать, как приготовить «бифштекс из коровьих кишок» или «эскалоп из шведской репы»:

«Очистить репу, нарезать ее толстыми ломтями, придав им форму эскалопа из мяса. Обдать кипятком, крепко поперчить. Обвалять в тертой хлебной корке и печь. Подавать с картофельным гарниром».

Высмеивая эти чудеса фашистской кухни, одна парижская газета предложила своим читателям изготовить такое блюдо:

«Жаркое для Гитлер». Взять хорошо начищенный сапог, нашпигованный гвоздями, желательно квадратными. Прокипятить его в касторовом масле. Нафаршировать опилками высшего качества. Обжарить с двух сторон на медленном огне. Чтобы изготовляемое блюдо больше походило на жаркое, сапоги надлежит перевязать бичевкой».

Но германских фашистов не смущают насмешки. Они создают «опытные компании по ловле акул»; призывают население есть картофель обязательно с шелухой; разрешают продавать только черствый хлеб: чтобы меньше ели!

Зачем понадобилось фашистским начальникам издавать такие приказы и создавать такие компании, а фашистским писакам и редакторам писать и печатать подобные глупости? Ведь каждому нормальному человеку они кажутся бредом сумасшедшего!

Ларчик открывается просто. Чтобы приготовиться к войне, нужно построить много танков, пушек, военных самолетов; нужно создать большие запасы, чтобы было чем кормить и во что одевать армию.

Германия—промышленная страна. Своего хлеба, масла, мяса и других сельскохозяйственных продуктов ей не хватает. Они всегда ввозились в Германию из других стран. Теперь из других стран в Германию ввозятся только железо, олово, никель, медь и другое сырье, которое можно превратить в пушки, танки, самолеты, снаряды.

Да и внутри страны с каждым годом производится все меньше продуктов питания. Фашисты строят сотни аэродромов, полигонов, лагерей, прокладывают

военные дороги, уничтожая десятки тысяч гектаров посевов. Недавно в Восточной Пруссии фашисты согнали с земли крестьян 14 деревень и на этом месте построили огромный военный лагерь.

«Пушки вместо масла,—провозглашают фашисты. — Все для войны!» — и лишают немецкий народ хлеба, мяса, масла, обрекают его на голод.

Школа-казарма

«Школа это или казарма для ребят?»— такой вопрос возникает у каждого, кто знакомится с фашистской школой.

В одном углу двора марширует группа ребят. Учитель с усами и выправкой бравого фельдфебеля зычно подает команду. С ребятишек пот катится градом, но они стараются глядеть «молодцами». Вот один невольно опустил голову. «Учитель» подскочил к нему и, больно зажав двумя пальцами нос мальчика, потянул его вверх — это урок в немецкой школе.

В другом конце двора дети швыряют деревянные бруски, изображающие ручные гранаты, — это тоже урок.

В одном классе учитель рассказывает детям о «подвигах» немецких генералов во время войны — это урок истории.

В другом классе ребята решают задачу: «Сколько газа надо пустить в действие, чтобы в окопе протяжением в 24,75 метра, шириной в 3,6 метра и высотой в 2,8 не осталось ни одного живого существа?» — это урок химии.

Фашисты изгнали из школ науку. Зачем она им? «Юноша должен быть гибким и послушным как борзая собака» — это слова Гитлера. Фашисты хотят превратить ребят в послушных, безропотных солдат, беспрекословно выполняющих волю начальника.

Они пытаются уверить молодежь, что в жизни у нее один путь, одна цель — умереть на войне, затеянной капиталистами.

Людоеды двадцатого века

Так же просто, как со школьной наукой, разделались фашисты с наукой вообще.

Все естествознание, всю историю и географию заменили они глупой и варварской расовой теорией. Будто бы есть какая-то высшая, арийская раса, к которой принадлежат в первую очередь германские народности, и есть расы низшие, неарийские.

Арийская раса должна властвовать над миром, а все остальные расы должны ей подчиняться. Так пытаются фашисты «научно» обосновать стремление германских капиталистов покорить себе другие земли и народы.

Разжигая вражду между народами, фашисты с особым зверством обрушиваются на евреев. Это не ново: и в царской России капиталисты, помещики и жандармы, чтобы отвести от себя гнев народа, натравливали русских на евреев. «Антисемитизм[1] выгоден эксплоататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся», — писал товарищ Сталин.

В фашистской Германии евреев не считают гражданами государства. Для них существуют особые законы. Они должны носить в петлице особый желтый значок. В парках и садах для евреев выделены специальные желтые скамейки, а в городе Ольденбурге городские власти запретили евреям даже пользоваться транспортом городского похоронного бюро.

Зубной врач Крюпер под своей вывеской прибил табличку «Арийский зубной врач»: ведь в Германии арийцам запрещено лечиться у врачей-неарийцев.

Фашистские погромщики разгромили тысячи мастерских еврейских ремесленников, тысячи лавчонок еврейских мелких торговцев. На крупных капиталистов и купцов-евреев у них руки не поднялись: еврейские капиталисты и в фашистской

[1] Вражда к евреям.

Германии получают большие барыши и продолжают процветать.

Рассказывая о человеконенавистнических, варварских делах немецких фашистов, тов. Молотов назвал их современными каннибалами — людоедами. Более точного и меткого названия для фашистов не придумаешь!

Кровавые щупальца

Во Франции раскрыли фашистский заговор. В подвалах обычных жилых домов были обнаружены бетонированные укрепления с пулеметами и скорострельными пушками.

«Масло-Аромат». Таким искусственным «маслом» для печения вынуждены пользоваться немецкие хозяйки. Это «масло» совершенно непитательно, и пользы от него никакой. Но настоящего масла теперь в Германии не найти.

По всей стране разбросаны были тайные склады оружия. На винтовках и пулеметах стояли марки немецких военных заводов. Подготовляли и организовывали заговор французские агенты немецкой тайной полиции — Гестапо.

На другом полушарии, в Бразилии, президент Варгас разогнал парламент и установил фашистскую власть. «Советниками» у президента были немцы — агенты Гестапо.

Темной ночью быстро мчавшийся автомобиль пересек германо-швейцарскую границу. Через час он остановился у дверей одного дома в маленьком швейцарском городке.

Звонок. «Кто там?» «Телеграмма». Дверь отворилась. Дюжие руки приехавших на машине молодчиков схватили открывшего дверь мужчину и поволокли его в автомобиль.

Машина сорвалась с места. Агенты Гестапо крепко держат свою очередную жертву.

Чуть ли не во все страны мира протянулись кровавые щупальца Гестапо. Мятежи, заговоры, убийства, взрывы, похищения людей — все это дела Гестапо.

Германские фашисты не только готовятся к войне: вот уже больше чем полтора года ведут они вместе с итальянскими фашистами жестокую и кровопролитную войну против испанского народа.

Посмотрите на карту: Пиренейский полуостров замыкает Средиземное море. Кто будет хозяином в Испании, тот сможет держать в своих руках Гибралтарский пролив — ворота Средиземного моря. На северном берегу Африки расположены французские колонии. Кто будет хозяином в Испании, тот всегда сможет отрезать Францию от ее колоний. Германия граничит с Францией на северовостоке, Испанией — на югозападе. Если бы в Испании победили фашисты, то тогда в случае войны Франция оказалась бы зажатой в тиски.

Вот почему германские фашисты и их итальянские союзники подготовили мятеж генерала Франко и изо всех сил помогают ему выиграть войну.

Японцы принадлежат к желтой расе. По фашистской классификации, желтая раса — одна из самых низших. Казалось бы, если следовать фашистской расовой теории, что может быть общего между белокурыми германцами и желтыми японцами?

Оказывается, общее есть. Это общее — ненависть к Советской стране, желание завладеть советскими землями.

Поэтому немецкие фашисты предупредительно назвали японцев «арийцами

Дальнего Востока», торжественно встречали их генералов в своей столице и заключили с японцами договор о совместном нападении на Советский Союз.

„Господа хорошие, протрите глаза, вы опоздали родиться!“

В том плане большой войны, который разработали Гитлер и его хозяева, главное—это война против Советского Союза.

«Когда мы в настоящее время говорим о новых землях в Европе, то мы можем в первую очередь иметь в виду лишь Россию и подвластные ей окраинные государства», — пишет Гитлер.

Немецкие фашисты вместе со своими японскими и итальянскими собратьями посылают в нашу страну много агентов, чтобы выведать наши военные тайны, чтобы организовать взрывы, убийства, поджоги.

Находкой для фашистов явились троцкистско-бухаринские изменники и предатели родины, ставшие верными слугами фашистских разведок.

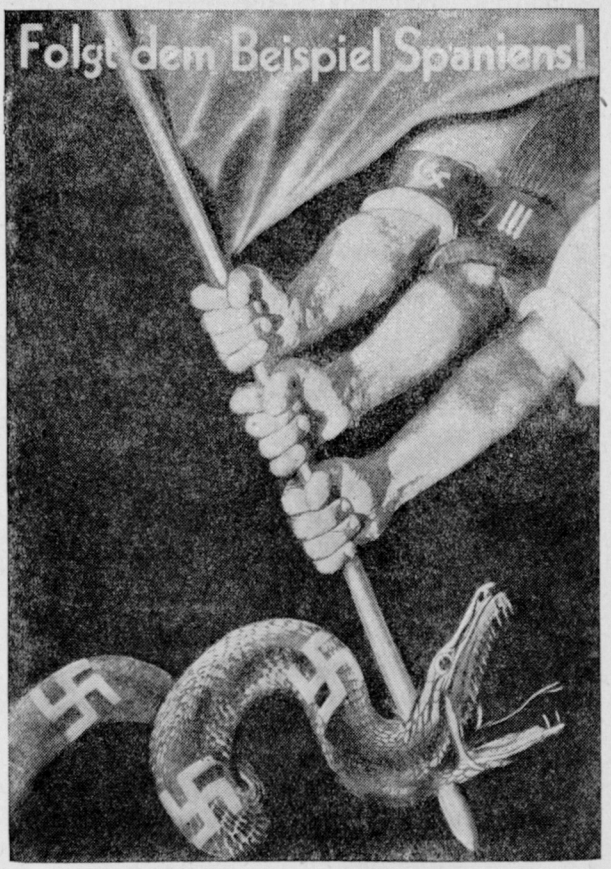
Двадцать лет тому назад, в 1918 году, немецкие генералы, чьи подвиги теперь так расписывают фашисты, получили хороший урок. Воспользовавшись тем, что Советская республика была еще слабой, что страна была разорена после трех лет империалистической войны, они попытались было занять Украину, Крым и превратить эти богатейшие земли в свои колонии.

Через несколько месяцев генералам пришлось бежать без оглядки: их полки не могли устоять перед натиском плохо вооруженных и необученных красноармейских частей, защищавших свою родную землю.

Это было 20 лет тому назад. За эти годы рабочие и крестьяне нашей страны, разгромив всех своих врагов, построили социалистическое государство рабочих и крестьян — самое богатое и могучее государство в мире. И защищает это государство непобедимая Красная Армия, вооруженная самыми лучшими самолетами, танками, пушками и другим оружием.

«Господа хорошие, протрите глаза, вы опоздали родиться!» — говорил, обращаясь к тем, кто затевает войну против Советского Союза, глава нашего правительства тов. Молотов.

Если мы их били 20 лет тому назад, то сколь сокрушителен и неотразим будет наш удар теперь!



Следуйте примеру Испании!
Фотомонтаж Джона Гартфильда.

Бойцы Красной Армии и Флота — сыны народа, завоевавшего себе счастливую жизнь, — сметут с лица земли всякого, кто осмелится посягнуть на наш свободный труд, на наше счастье!

Две Германии

Фашисты сравняли с землей могилы вождей германского народа — Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Фашисты казнили и замучили в своих застенках 10 тысяч человек, засадили в тюрьмы и в концентрационные лагери 300 тысяч. Пять лет держат они в одиночной камере руководителя немецких коммунистов Эрнста Тельмана.

Но ни топор палача (в фашистской Германии осужденным рубят головы на плахе, как в средние века), ни самые изощреннейшие пытки не могут помешать героической борьбе, которую ведут

против фашистов коммунисты и члены других антифашистских партий, об'единившиеся для совместной борьбы.

Мы расскажем вам об одном случае, который показывает, как борются наши товарищи в Германии.

Глубокой ночью по улице фабричного поселка шли двое. У одного в руках было ведро, у другого — портфель. Вдоль левой стороны улицы тянулась каменная стена завода. В одном месте к стене примыкал сарай. Здесь один из прохожих влез на стену. Второй подал ему ведро и сверток, только что вынутый из портфеля.

Рядом с сараем котельная. Прямо над ней огромная фабричная труба. Привязав к поясу ведро и положив за пазуху сверток, прохожий быстро взобрался по ступенькам из железных прутьев к самому верху трубы.

Под утро весь фабричный поселок был разбужен сигналами пожарных машин, быстро промчавшихся по центральной улице.

— Что случилось? Где пожар?

Все жители поселка высыпали на улицу. И они увидали на самой верхушке фабричной трубы красный флаг.

Пожарные долго не могли подобраться к флагу. Ступеньки на трубе были густо смазаны машинным маслом (вот что было в ведре у прохожего!), и подняться по ним было невозможно. Пока пожарные прилаживали к трубе свои раздвижные лестницы, прошло 20 минут. 20 минут развевался красный флаг. И рабочие, глядя на алое полотнище, думали:

«Trotz alledem! Несмотря ни на что, мы живем, мы боремся!».

Как ни стараются агенты Гестапо, каждый день то в одном, то в другом городе, то на одном, то на другом заводе появляются антифашистские листовки.

Накануне нового года в Берлине тайно собрался всегерманский с'езд организаций, борющихся с фашизмом. На с'езд приехали 37 делегатов со всех концов страны. С'езд выпустил обращение, в котором говорится:

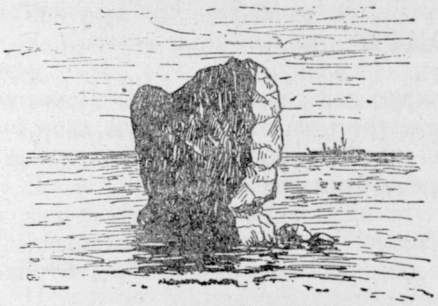
«Нынешняя система имеет теперь в Германии об'единенного противника. Мы вызвали фашизм на борьбу. Фашизм будет в ближайшем будущем иметь с нами дело. Мы разбудим Германию!»

По всей стране тайно проходит сбор пожертвований в пользу республиканской Испании. Рабочие, крестьяне, домохозяйки отрывают сколько могут из своих нищенских заработков и посылают испанским братьям. Один рабочий, пожертвовавший 50 пфеннигов, сказал: «Быть может, на эти небольшие деньги испанское правительство отольет лишнюю пулю, предназначенную для гитлеровца».

Даже в армии есть много недовольных фашистами. Недавно семь германских военных летчиков, которых направили сражаться в Испанию, дезертировали и вместо Испании опустились в Чехословакии.

В Дортмунде один солдат рейхсвера сказал товарищам: «В будущей войне я поверну свое оружие против офицеров!» Его немедленно бросили в тюрьму.

Фашисты видят, что почва горит у них под ногами, что растет народное возмущение. Поэтому они торопятся начать войну: фашисты думают, что военный угар одурманит рабочих и крестьян Германии. Получится наоборот. «Сеющий ветер пожнет бурю!» Буря народного гнева сметет фашистов вместе с их хозяевами.



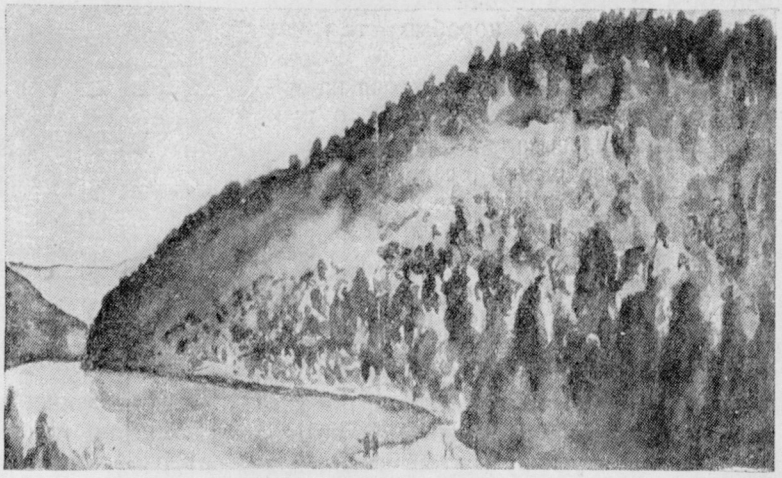
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО „КОМПАС“

Известия Географического общества читателей журнала «Пионер». № 15.

В честь пионерской организации

По нашей необ'ятной родине разбросано много географических точек: острова, горы, скалы,—названных в честь пионерской организации. О некоторых из этих географических точек мы рассказываем в этом номере «Компаса». Просим всех членов «Компаса» и читателей «Пионера» прислать в редакцию описания, зарисовки и фотографии известных им географических точек, названных в честь пионерской организации.

Гора „Пионер“



Эта гора находится в 6 километрах от станции Лоухи, где я живу. В первый раз мы ходили на нее в июле. Дни тогда были жаркие, и потому было хорошо идти: все болота высохли. Во второй раз мы ходили в октябре.

Если идти в деревню Лоушки, то эта гора будет с правой стороны. С дороги видно только вершину. Она очень красива. На самом гребне ее стоит кривая сосна, а кругом поляна. Как и все горы здесь, она имеет ровную вершину и покрыта смешанным лесом. В туманное время она кажется совершенно синей. А когда подойдешь к озеру Горному, то она уже видна лучше: видно каждую елку. Поднимается гора тут почти отвесно, а с другой стороны — плоскогорьем. В некоторых местах нам приходилось забираться на нее, как по стене.

Когда в первый раз мы были на горе,— написали на сосне: «Гора «Пионер». Анохин, Федоров. Июль 1937 года». А когда во второй раз ходили, пошли посмотреть на надпись, — вся она была залита смолой и получилась как будто под стеклом: все заметно.

Гора «Пионер» сложена из камня и покрыта травой и кустарником.

Карелия *Пионер Андрей Анохин*

Скала „Пионер“

Это было в прошлом году. В пасмурный осенний день мы шли вдоль берега Новой Земли. Карское море было угрюмо. Тяжелые свинцовые волны торопливо бежали бесконечными рядами. Они приходили неизвестно откуда и исчезали, разбиваясь в белую пену и брызги у прибрежных скал.

Тоскливо в такую погоду стоять на мостике. Весь мир кажется серым и негостеприимным, таким же, как вот эти мокрые скалы и молчаливые горы, тонущие в туманной пелене. Мы устали качаться на волнах. Много дней и ночей мы провели в открытом море и теперь мечтали укрыться в какой-нибудь тихой бухте, с'ехать на берег, снова почувствовать под собой твердую землю.

Короткий полярный день быстро подходил к концу. Глаз устал обшаривать биноклем черные берега, руки совсем закоченели на ветру, но ничего подходящего для нас пока не было видно. Те бухты, которые мы видели, были недоступны. Белые буруны предостерегающе синели и пенились против их входа. Они говорили моряку: кораблю там не пройти.

Капитан Иван Матвеевич стоял на мостике, лениво опершись спиной о рубку, курил и сплевывал за борт. Казалось, ему было совершенно безразлично все на свете и он совсем не интересуется тем, чтобы скорее стать на якорь. Но зоркие, чуть прищуренные серые глаза, смотревшие вперед, и негромкие слова команды рулевому показывали, что он видит все и внимательно ведет судно.

Далеко впереди, прямо в море, на порядочном расстоянии от берега, показалась черная точка. Корабль? Нет, не может быть. В эту пору в этой части моря не может быть никаких кораблей. Но что же это тогда? Все, кто были на мостике, напряженно вглядывались вперед.

— Скала! Высокая скала! — первым определил старший штурман.

Действительно, скоро стало ясно видно, что из воды торчала скала, похожая немножко в профиль на петуха, глядящего прямо в открытое море. Волны яростно налетали на серый камень, разбиваясь в тысячи брызг. Белая пена кипела вокруг него, как в котле. Приятно было смотреть на эту одинокую скалу— такая она была крепкая, смелая и гордая среди бушующего моря.

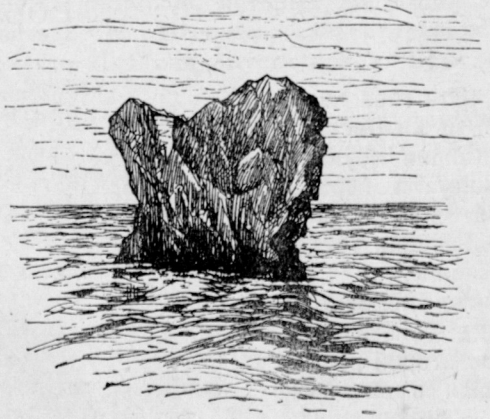
— Это настоящий символ мужества и бесстрашия! — воскликнул восхищенный начальник экспедиции Сергей Дмитриевич.

Как я жалел, что было мало света для фотографирования! Мы прошли мимо скалы и заметили позади нее какую-то бухту.

— Иван Матвеевич, давайте попробуем зайти сюда,— предложил начальник экспедиции.

— Что же, можно попробовать,— согласился капитан.

Наш «Политотделец» дал самый малый ход. Вытравили носовой якорь. Я побежал на ют к своим приборам и каждые пять минут брал глубину. Так, ощупью,



мы медленно продвигались вперед. Постепенно глубина уменьшалась; на траверзе скалы стало совсем мелко, и мы каждую минуту ждали, что якорь коснется дна... Вот прошли мимо входного мыса. Стало чуть глубже, потом еще и еще, и вот мы уже в бухте. Спокойно, на хорошей глубине прошли в самый ее конец. Тут было довольно тихо. Высокие берега защищали нас от ветра, морская волна доходила ослабленная и совсем не сердитая. Трудно было найти более подходящее место для якорной стоянки...

Вечером все собрались в кают-компании. Приятно было ужинать, не опасаясь, что тарелка с супом каждую минуту может убежать на другой конец стола, не надо было ловить хлеб, ножи, вилки. Все спокойно стояло на своем месте.

После ужина, когда все закурили трубки, капитан спросил:

— Ну, как же мы назовем новую бухту? На карте она не обозначена.

Начальник экспедиции подумал и сказал так:

— Первый в нее вошел «Политотделец». Я думаю и бухту надо назвать в честь нашего корабля бухтой Политотдельца.

Все с этим согласились.

— Теперь,— продолжал Сергей Дмитриевич,— нужно как-то назвать и скалу, показывающую вход в бухту Политотдельца.

— У меня есть предложение,—сказал я.— Эта скала похожа на смелого, бесстрашного пионера, идущего всегда впереди. Предлагаю назвать ее скалой «Пионер».

Так поздно осенью в прошлом году карта берегов Новой Земли украсилась двумя новыми географическими названиями.

Н. С.

Сопка „Пионер“

На дальневосточной советской границе, около пади Мещеряковой, стоит памятник героям-пограничникам, погибшим в бою с японо-манчжурами, перешедшими нашу границу 28 января 1936 года.

Падь Мещерякова лежит между высокими сопками, покрытыми лесом, и вершиной своей уходит к самой границе. Там, с правой стороны, и поднимается небольшая сопочка «Пионер», названная так потому, что она пониже и поменьше окружающих сопок. Она покрыта толстым и частым кедрачом, сосной и с западной стороны — березником. По крутым ее склонам много валежника и так все запутано вьющимися лианами, что и зимой за десять метров ничего не увидишь.

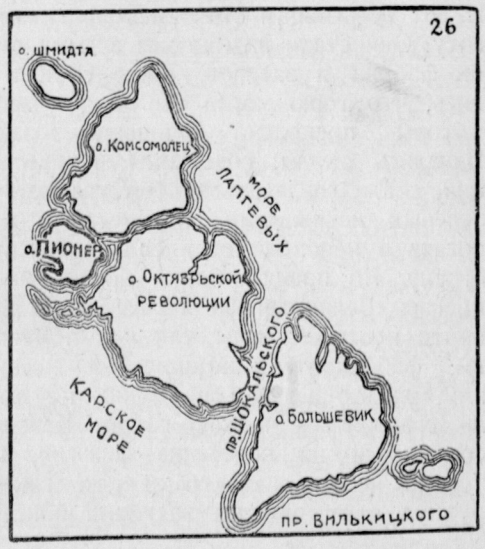
К границе от сопки «Пионер» идет более пологий склон и виднеются чистые проплешинки. Оттуда-то и вышли японо-манчжурские налетчики, героически отбитые в январе 1936 года нашими пограничниками. Об этом бое было рассказано в № 10 журнала «Пионер».

Н. ЕМЕЛЬЯНОВА

Остров „Пионер“

Старая карта Северной Земли.

Налево — карта Северной Земли, какой она была на картах царской России. Направо — точная карта Северной Земли, снятая в 1930—1933 годах зимовкой Ушакова. На северозападе ее находится остров «Пионер». Его величина — 1649 квадратных километров. Берега острова обрывисты, каменисты и достигают нескольких метров высоты. Над островом на высоте 300 метров над морем возвышается ледниковый купол.



Разрушение и спасение природы

Н. Солнцев

Страна, где не видят леса

Некогда в Дании было много прекрасных лесов. Лесу было столько, что из него строили здания, заготовляли зимой на дрова, продавали соседям. Но это было лет сто тому назад.

Современные датчане знают об этом из книг, но сами они никогда не видели лесов. Тот, кто хочет посмотреть лес, должен ехать заграницу. Нигде в другом месте вы не увидите такого однообразного ландшафта, как в этой плоской как стол стране. Но куда же девались леса? Хищничество капиталистического хозяйства давно извело их в этой стране. Лес стал музейной редкостью. Остатки некогда мощных, густолиственных буковых лесов теперь можно узнать только по тщательно оберегаемым жалким рощам.

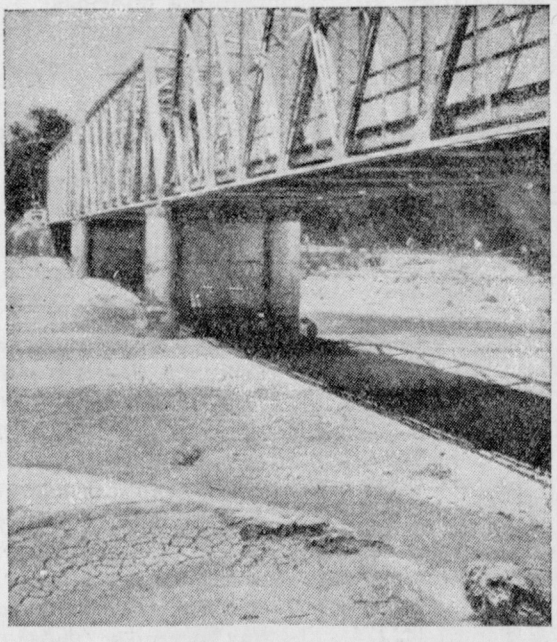
Бельгия задыхается в дыму

Так же хищнически уничтожены леса и в Бельгии. Но если Дания — страна по преимуществу сельскохозяйственная, то Бельгия—страна промышленная. Сотни фабрик и заводов беспрерывно работают здесь день и ночь, отравляя воздух копотью, дымом и вредными газами. И вот бельгийцам стало, наконец, невмоготу. Они стали задыхаться в дыму своих фабрик и заводов. Тогда спохватились, что горю могли бы помочь леса, которые прекрасно очищают воздух. Начались с'езды, совещания, конференции, стали создаваться общества друзей зеленых насаждений. В газетах стали писать о необходимости снова облесить страну. Но поднятый шум принес мало пользы. Великолепные планы оказались почти неосуществимы, так как помещики, фабриканты, акционерные компании, владеющие землей, никак не могли сговориться между собой. Каждый соглашался на облесение Бельгии, но только не за счет его земель. Так и рухнул этот широко задуманный план!

Земляной червь и буковый лес

Датчане тоже попытались снова облесить свою страну. Правительство отвело специальные участки, на которых лесоводы высадили саженцы молодых буков. Однако деревья почему-то росли плохо, многие чахли и в конце концов погибали. Долго лесоводы бились, но так и не смогли вырастить новых лесов. Леса гибли там, где они прекрасно росли в прежние времена.

Крупнейшие ученые были приглашены для разгадки таинственной причины гибели посадок. Долго они ломали голову, пока один из почвоведов не обнаружил, что почва после истребления лесов сильно изменилась и приобрела совсем другие физические свойства. Если раньше она была пористой, то теперь сильно уплотнилась, если раньше она имела одну влажность, то теперь — совсем другую, если раньше в ней было много пе-



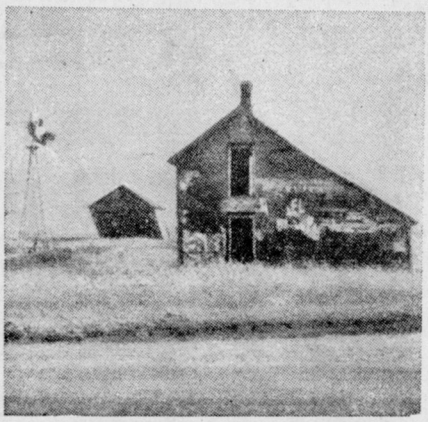
Белая река в Южной Дакоте высохла, и мост оказался ненужным.

регноя от ежегодно опадавших буковых листьев, то теперь перегноя совсем нет. Наконец, оказалось, что для букового леса необходим земляной червяк, который удобряет и разрыхляет землю. Этот червяк исчез вместе с истреблением лесов. Все вместе взятое: и червяк, и влажность, и пористость, и количество перегноя — все то, что постоянно сопутствует буковым лесам и благоприятствует их жизни, исчезло, а потому снова облесить Данию оказалось не так-то просто.

Доктора-географы

Природа требует к себе заботливого отношения. В природе все так тесно связано между собой, что, изменяя в ней что-нибудь одно, мы этим изменяем и все в целом. Помните, как в шахматной игре перестановка одной фигуры на другое место сразу меняет все соотношение сил? А ведь в природе действуют не восемь фигур, а великое множество. Хороший географ, как доктор, может сказать, что произойдет, если в какой-либо стране произвести нарушение нормального соотношения географических сил, усилить или из'ять какой-либо элемент. В нашем социалистическом хозяйстве советы такого доктора-географа принимаются во внимание, а в капиталистических странах на них никто не обращает внимания.

Когда переселенцы из Европы впервые вступили на американскую землю, они были поражены ее богатством и привольем. Густые, тенистые леса, полноводные реки, широкие, беспредельные степи-прерии, богатые почвы, обилие зверя, птицы, рыбы — такова была природа новой страны. Некогда пустынная Америка превратилась в густо населенную страну. Но хищническая капиталистическая система хозяйства привела к тому, что богатейшая природа США оказалась истерзанной и изувеченной. Вырублены громадные леса, распаханы беспредельные прерии, истреблен зверь, обмелели реки. Богатая природа становится бедной природой и уж не может прокормить то густое население, которое издавна жило за ее счет. Но, мало того, теперь природа начинает мстить человеку.



Брошенная ферма в Южной Дакоте.

Как гибнет природа

Местности, где вырубают леса, становятся бедны запасами грунтовой воды. Поэтому источники и родники иссякают, реки, речки и ручьи не получают уже того количества воды, которое они раньше получали равномерно в течение всего лета.

В лесу скапливается много снегу, весною он тает медленно и талая вода хорошо успевает пропитать землю. Там же, где леса сведены, снег зимою не может накапливаться, так как ветры сдувают его с открытого места в овраги, сносят в речные долины, задерживают в кустарниках. Зато весною на открытом месте снег начинает таять быстро и энергично. В несколько дней он весь сходит. Талая вода, не успевая впитаться в землю, переполняет овраги и мчится по ним бешеными потоками. Мелкие ручьи становятся быстрыми и бурными речками, а реки выступают из берегов и широко разливаются. Высокие половодья приносят неисчислимые убытки стране, затопляя и разрушая села, деревни, города, фабрики и заводы. Но и мелкие ручьи приносят огромный вред: они размывают почву, сносят перегной, образуют новые овраги и увеличивают старые.

Разлив Миссисипи затопил город Эвансвилль.

Капитализм разрушает страну

Один американский ученый так описывает картину разрушения богатой природы капиталистическим хозяйством:

«Почва нашего континента, наш жизненный центр, явно и быстро разрушается. Леса выгорают и вырубаются. Площадь их все время уменьшается. Естественный травяной покров сорван стальными плугами и вытоптан скотом.

Шестая часть страны приведена или приводится в негодность...

Весной 1934 года поля так называемой «Пыльной чаши» были унесены ветром за 2 тысячи миль, к Атлантическому океану. В течение одного дня с Великой равнины было поднято 300 миллионов тонн верхнего слоя земли и унесено в район, где эта пыль могла причинить лишь убытки. Пыль душит людей и животных. Они заболевают так называемой «пылевой пневмонией». Во время пылевых бурь, как зимой во время бурана, дети пропадают, заблудившись во мгле...»

Миссисипи с Миссури — самая большая река в мире. В ее огромной долине собралось густое и богатое население «Этот бассейн был настоящим раем: богатые фермы, амбары, которые ломились от изобилия, смеющиеся фермерские семьи. Было истинное наслаждение проезжать по этим штатам. А теперь? Заброшенные фермы, обветшалые дома, полуразвалившиеся заборы, мрачные, безнадежные лица. Сердце бассейна перестало биться. Рай превратился в ад».

За последние годы в бассейне Миссисипи участились катастрофические наводнения. В январе 1937 года от наводнения Миссисипи пострадало 1200 тысяч человек! Наводнение произошло потому, что в бассейне реки Огайо (приток Миссисипи) выпало огромное количество дождей. Эти осадки, не удерживаемые травяным покровом или лесами, сразу скатились по оврагам в реку и с ужасающей быстротой понеслись вниз по течению. Скорость воды достигала 20 километров в час. Река затапливала огромные пространства, разрушая и смывая все, что попадалось ей на пути.

Пропажа воды

Вот другой пример капиталистического грабежа природы. По Миссисипи ходит все меньше и меньше пароходов и барж, перевозится все меньше грузов. Почему? Потому что хозяева железных дорог хотят, чтобы больше грузов перевозилось по железным дорогам, хотя перевозка их стоит дороже. Они подкупают чиновников, ведающих очисткой водных путей, и реки запускаются, заносятся илом, мелеют, пароходам и баржам трудно по ним ходить. Но раз мелеют реки, пропадает вода и в прилегающей к рекам почве. Высыхают родники, исчезают пруды и озера, приходится рыть глубокие колодцы. В штате Южная Дакота уровень подземных вод за 20 лет опустился на 11 метров. Американский ученый Чейз пишет:

«Прошлой осенью я был в центральном районе Южной Дакоты. Возьмите в руки щепотку тамошней земли. Когда вы открываете кулак, на землю сыплется песок, рука остается совершенно сухой и чистой, как если бы вы играли белым песком на пляже. Ни атома влаги. Местные фермеры считают, что эта земля уже больше непригодна для посевов пшеницы, ибо подпочвенные воды залегают теперь слишком глубоко».

Так происходит всюду на пяти шестых земного шара, где жадный до наживы капиталистический строй хищнически выжимает из природы все, что можно, не заботясь о завтрашнем дне.

Наши реки будут полноводны

Только плановому социалистическому обществу под силу сохранение и правильное использование сил природы.

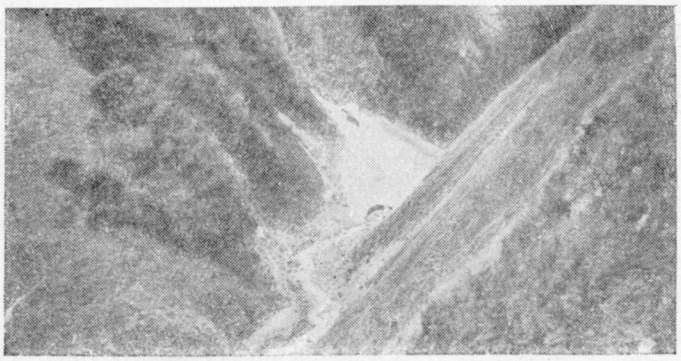
Так, недавно советское правительство издало декрет о создании широких лесоохранных зон вдоль берегов всех наших крупнейших рек. В этих зонах никто не имеет права рубить лес. Наши реки будут обеспечены водой, и с ними никогда не произойдет то, что случилось с реками Соединенных штатов Америки.

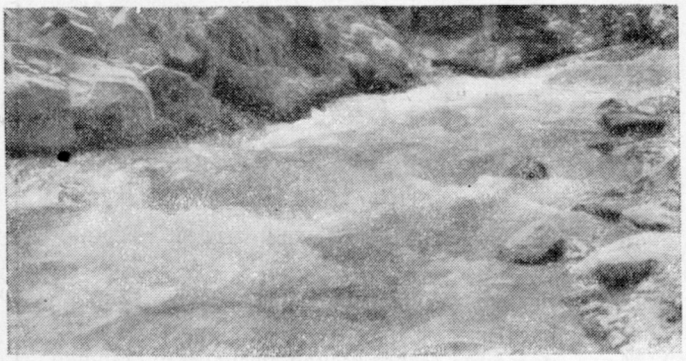
В тех местах, где леса сгорели или повырублены, государство заботливо их восстанавливает. Особое управление лесоохраны и лесонасаждения при Совнаркоме СССР создает несколько тысяч специальных питомников, где из семян выращиваются молодые деревца для посадки в водоохранной зоне. Вдоль рек весной 1937 года было высажено 175 тысяч гектаров молодых деревьев. Весной 1938 года будет посажено леса еще больше. Через несколько лет лесная водоохранная зона вдоль главнейших рек будет полностью восстановлена, реки станут полноводней, исчезнут меженные мели, уменьшатся весенние половодья, от года к году станут улучшаться условия навигации. Не только государство, десятки тысяч колхозов заботятся о лесах, обсаживают свои поля деревьями, создают пруды в оврагах и балках.

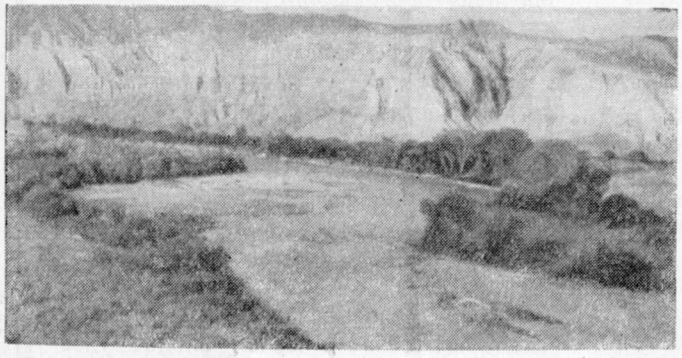
Пустыня зацветает

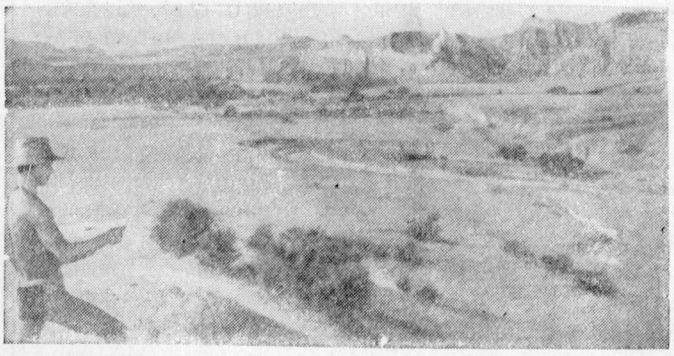
Советские люди — ученые и агрономы — превращают пустыни в сады.

Есть у нас в Средней Азии, в центре пустыни Каракумы, научно-исследовательская Репетекская песчано-пустынная станция. Работники станции решили, что при некотором усилии можно и пустыню заставить цвести. Начались долгие работы. Подбирали особые сорта выносливых к жаре и безводью растений, исследовали количество влаги в песках, выяснили, на какой глубине можно из колодцев достать воду. Прошло несколько лет, и вот проф. Р. И. Аболин пишет оттуда: «В котловине, залитой солнцем, среди сыпучих барханов Каракумов, подступающих с востока к Репетекской станции, молодые посадки винограда чувствуют себя в песках вполне удовлетворительно. Удались посадки не только винограда. За станцией, в песках же, аллеи будущего сада. С двух сторон аллеи — инжир и гранат. Большинство деревьев развивается вполне нормально. Посажены также маслины, фисташка, айлант, белая акация, маклюра и др. В питомниках Калашникова испытывается ряд продовольственных и кормовых культур. Больше всего уделено внимания арбузам, просу и сорго. Урожай столовых арбузов составляет 6,5 — 8,2 тонны, по кормовым — до 28 тонн на гектар».









История реки

И. Шепелев

На этих четырех снимках показана вся история реки Алазань, которая протекает по Кавказу. Первый снимок показывает рождение реки. Эта тоненькая струйка вытекает из снежника на горе Барбало, на границе Кахетии и Горной Тушетии. Крошечный ручеек течет безлюдными горами, все увеличиваясь, прыгая с камня на камень, бурля и кипя.

В Алазанском ущелье (на втором снимке) Алазань превращается уже в обыкновенную горную речку. Воды в ней, правда, по колено, но устоять в ее студеной, обжигающей, как кипяток, воде почти невозможно: сила течения валит с ног.

Затем Алазань выходит из ущелий в широкую и плодородную Кахетинскую долину. Тут человек заставляет реку работать на себя. Около совхоза Цинандали от реки отведен канал к строящейся электростанции Алазаньгэс. Вода после вращения турбин пойдет по каналу для орошения плодородной Ширакской степи.

А сама Алазань течет все дальше и дальше, выходит из Кахетии в Азербайджан, орошая его степи. Теперь это многоводная спокойная река. И только в одном месте, проходя через небольшой горный хребет, Алазань вспоминает свое горное происхождение: она бурлит и кипит, проходя над 67 порогами. Один из них снят на третьем снимке. Эти пороги до 1937 года не были известны, и только в этом году группа московских туристов прошла по этим порогам, описала их и открыла не известную еще речку, впадающую в Алазань около горы Калтан. Эта неизвестная речка снята на четвертом снимке. Видно, как прихотливо она извивается. Стоящий слева турист наносит ее на карту.

Фонд Географического Общества.

ВИТЯ ФЕДОРЧУК (ст. Тюлькубас, Южный Казахстан) рассказывает, что он нашел в горах небольшую окаменелую раковинку, а потом еще одну, побольше. Его очень заинтересовало, как раковины попали так высоко в горы. Витя стал рыться в книгах, приглядываться к горным породам, и вот что он узнал.

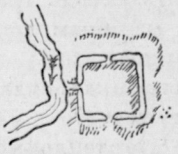
Около трехсот миллионов лет назад на месте теперешнего Каспийского и Аральского морей, на месте Урала и Волги простиралось в меридианном направлении громадное каменноугольное море, одним краем захватывавшее и Южноказахстанскую область. В водах этого моря жило очень много разнообразнейших живых существ, от микроскопических корненожек, известковые скорлупки которых образовали мощные толщи известняка, до морских ежей и рыб. На земле в каменноугольный период росли чрезвычайно развившиеся папоротниковые, древовидные, хвощи, плауновые и др. Эти растения, падая в воду и покрываясь сверху наносами, образовали залежи каменного угля. В Южном Казахстане ведь есть несколько выходов бурого и каменного угля (Ленгерский район, Чокпак), образовавшегося тогда.

В конце каменноугольного и в начале пермского периодов каменноугольное море начинает сокращаться и усыхать, уступая место суше. Освободившаяся суша под действием вулканических сил приходит в движение, собирается в складки, образуя мощные горные системы Тянь-Шаня.

С тех пор прошло около 50 миллионов лет. Горные вершины немного сгладились, выветрились, но горообразовательные процессы не прекратились, то и дело давая о себе знать землетрясениями.

Узнать это мне помогла небольшая окаменелая раковина плеченогого Spirifer mosquensis.

ВИТЯ ЛАНГЕ (Киев) летом жил в селе Кириченке, у реки Тетерев (приток Днепра). В окрестностях села много залежей гранита и мрамора. Коростышевский гранит настолько хорош, что из него сделаны монументы Ленина и Сталина на канале Волга — Москва и им облицованы многие сооружения канала. Один раз, вечером, во время рыбной ловли, Витя видел плывшего по реке бобра: недалеко от Киричанки, под высокой кручей, живет целая колония этих редких животных.



ДИМА ГОРОХОВ (Москва) прислал фотографию и чертеж городища славянского племени вятичей, которое он обследовал около деревни Старое Городище, в 4 километрах от Каширы, в низовьях речки Каширки. С помощью простейших геодезических инструментов Дима измерил городище. Оно имеет форму правильного квадрата, площадью в два гектара. Его окружает крутой и высокий вал, поросший дерном. В нем с запада, севера и юга прорезаны ворота. С вала открывается широкий вид, километров на 7, и поэтому легко было заметить приближение врагов. С трех сторон валы окружены глубокими рвами. Внутри валов сделана из глины, как и валы, покатая площадка. Сравнив найденные черепки с выставленными в местном краеведческом музее, Дима установил, что они относятся к V — VII векам нашей эры.

Кто сильней

Борис Житков

Что бы люди ни затеяли делать, нужна сила. Своей мускульной силы мало. Даже будь каждый человек слоновой силы,— все равно, не сделать бы того, что сделано людьми сейчас.

В Египте 4 тысячи лет тому назад вручную, «хлебным паром», как говорится, построили пирамиды. Считались они тогда «чудом света». А сейчас предложите любой американской строительной фирме подряд на постройку полусотни пирамид со всеми удобствами, она вам сейчас же пришлет смету, проект и в три месяца исполнит заказ с отделкой и электрическим освещением внутри.

Навезут машин, и машины будут копать, подымать, склепывать железо — людей будет очень мало. Их дело — направлять силу, чтоб она работала с толком. Вся сила будет в машинах. Если б потребовалось пробить ход в каменной горе,— невелика хитрость: машина, да не одна, а сотня, будет долбить день и ночь, не уставая, не переставая, — и пробьют машины сквозной коридор хоть сквозь гранит. Люди будут подавать машинам топливо да смазывать их понемногу.

Откуда у человека эта огромная сила? Кто это напрягается, кто тужится?

Все это работает тепло. Что тепло может работать, в этом сразу можно убедиться. Возьмите сделайте из сырой глины шарик с орех величиной и киньте этот шарик в печку, в самый огонь. Шарик разорвется, как ручная граната, он разлетится на мелкие кусочки, разбросает из-под себя угольки. Поэтому не суйтесь к печке, как закинете шарик, а сразу отойдите от дверки в сторону.

Что взорвало шарик? Никакого пороху ведь не клали. Теплом, жаром его разнесло. В шарике сырость, вода. Эта вода на огне мгновенно обратились в пар, пару нужен простор — и вот летит во все стороны глина, прыскает из печи угольками.

Люди давно знали о силе пара: кипятили для пищи воду, летели крышки с посуды. Но вот запрячь его в дело удалось нескоро. Наш русский механик Ползунов первый соорудил паровую машину. но времена были тогда очень тугие, о Ползунове забыли, и про его машину мало кто даже и в России знал. Англичанин Уатт выдумал почти то же. Стал пар работать. Паровые машины приняли такой вид: пар получали в котле, из котла по трубе он шел в цилиндр, а цилиндр был перегорожен поршнем; пар напирал на поршень, толкал его, а от поршня шла палка, она-то и передавала силу на колесо, колесо вращалось и крутило машину; назад поршень шел потому, что пар пускали потом с другой стороны. И вот получалось хождение поршня в цилиндре взад да вперед, а палка торчала из цилиндра и тоже ходила вперед и взад. Чтоб палка не ломалась, крутя колесо, на ней сделали подвижной на шарнире сгиб. И получались, как рука с локтем. Эта «рука» и вертела колесо, совсем как человек, за ручку. Да и сейчас: если вы посмотрите, как работает паровоз, увидите, как вылезает «рука» из цилиндра и вертит колеса. Такая «рука» вертит и вал в автомобиле, и во всех поршневых машинах осталась та же железная «рука», которая идет от поршня к колесу.

Сделайте из консервной банки колесо на проволочке. Поставьте его между пробками, чтобы не упало. Пар из чайника будет работать — крутить колесо.

Как все радовались этим успехам тогдашней техники: пар заставили работать! Только кидай дрова под котел. А машина сама! Сама, прямо как живая! Но скоро радости простыли, и машину, вместо того чтоб хвалить да оглаживать, стали поругивать. Показалось людям мало: столько жрет угля под котлом... Позвольте! Только что радовались. Ну, а сколько же можно требовать работы, скажем, от куска угля или от полена дров? Вот сгорит это полено — сколько же работы ждать от этого тепла, если все его целиком пустить в ход?

Но дело разрешили так: подумали, если

тепло переходит в работу, то и работа должна давать тепло. Это ясно: трете же вы руки на морозе, чтоб согреть их. Так вот измерим, сколько работы затратится на тепло (скажем, чтобы бочку воды нагреть на градус), вот и будут с такого количества тепла требовать той же работы.

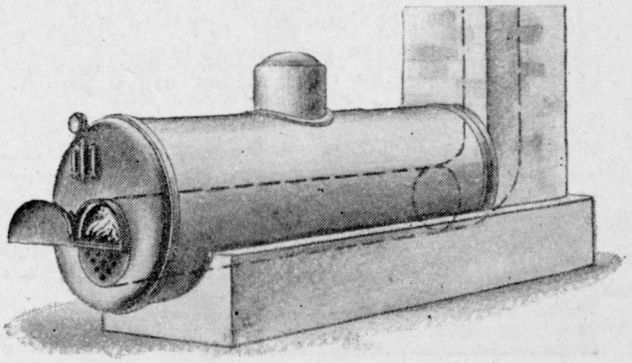
Так и сделали: взяли бочку воды и в ней поставили мешалки. Они вертелись в воде от конного привода. Можно сказать, стали толочь воду в ступе. Однако толк вышел большой. Вода нагрелась от этой работы, можно было даже смерить, насколько. Стали делать другие опыты, рассуждать, спорить и, наконец, установили, сколько работы требовать с топлива: с килограмма угля, с литра нефти и т. д.

Кинулись к паровой машине. И что же: только две сотых тепла сгоревшего под котлом топлива шло на полезное действие. «Коэфициент полезного действия» тепла в этой машине оказался 0,02. Но это бы ничего, если б топлива была гора и рядом с машиной. Но машины бывали вдали от лесов и угольных копей, каждый килограмм топлива приходилось подвозить издалека.

А уж тем машинам, что работали на транспорте — пароходам и паровозам, — приходилось возить топливо с собой. Еще на сухопутье кое-как можно обойтись: завести загодя топливо и устроить по пути склады. От склада до склада добежит машина, постоит, запасется топливом в путь — и до другого склада. Ну, а в океане? Тут же островов не насыплешь, чтоб грузиться в пути углем. А если машина беспощадно жрет уголь, то придется весь пароход целиком забить углем, а для груза и вовсе места не останется.

Взялись исследовать машину. Верно: утечка пара есть. И порядочная. Поршень в цилиндре ходил так неплотно, что в щель можно было просунуть спичку. Обошлись тут очень остроумно: поршень сделали потолще и на него надели упругие, как пружина, обручи. Обручи врезали чуть в поршень, чтоб они по нему не скользили, а наружным краем эти обручи плотно прижимались к цилиндру, и пар уж не просачивался, а целиком нажимал на поршень. Нет, и это мало помогло.

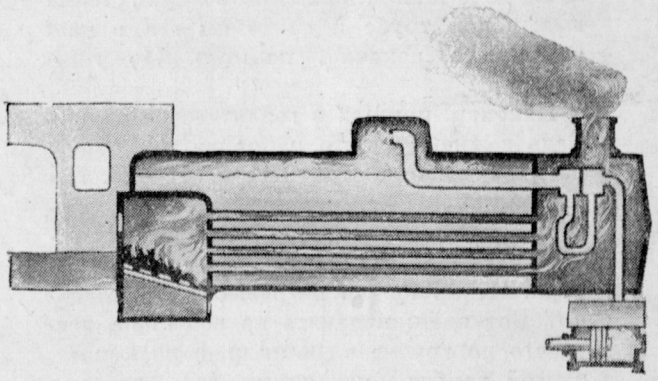
Если не утечка, то куда же тратится пар, коли он дает так мало силы? Значит, не вся его упругость отдается машине. «Верно! — решили механики. — Ведь глупость мы делаем. Пар ведь—то же, что пружина: он может расширяться. А мы этого расширения не пускаем в дело. Это все равно, как если б пришлось закрывать, скажем, дверь не просто рукой, а имея в руке сжатую пружину. И тут, вместо того чтоб дать пружине расправиться и толкнуть дверь, мы скорей бы толкали дверь рукой со всей силы так, что пружине некогда было бы расправиться.



Сквозь котел проведена труба. В ней топка. Пламя и дым идут по всей длине топки к дымовой трубе.

Сделаем так: пустим в цилиндр немного пару, и пусть он там расширяется и, расширяясь, выталкивает поршень вперед». Сказано — сделано.

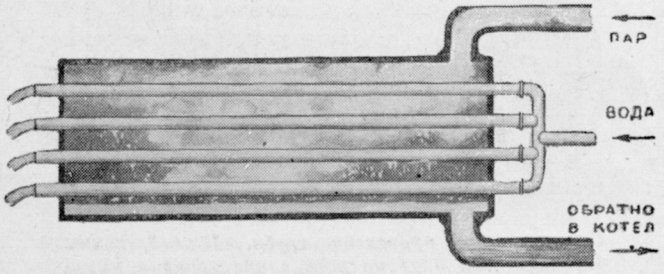
Сразу стало меньше тратиться пару. Дело пошло экономней, но... все же и после этого только 8—10 процентов тепла шло на работу. А остальное? Вылетало в трубу? Действительно, летят в трубу газы и дым в 400 градусов. И тепло улетает в небо. А самый котел? Ведь он пышет жаром, вокруг него все нагрето, рукой не взяться. Вот где, значит, идет растрата. Вот кто без всякой совести и оглядки рвет процен-



Котел с дымогарными трубами. Через них летит пламя. Пар собирается в колпаке и по трубе идет на перегрев в дымовую коробку, а оттуда в поршень.

ты за перевод тепла в работу, котел с его топкой и трубой. Теперь набросились на котел. Топку сделали ввиде железного ящика и вставили в самый котел. Через весь котел провели железную широкую трубу, и он стал как самовар, если его положить на бок. Пусть пламя, дым, горячие газы идут теперь по этой трубе и пусть оставляют по пути свое тепло в котле.

Помогло, но на грош. Пока что и этому грошу рады были.



Холодильник. В трубках бежит все время холодная вода и холодит ящик. Пар в нем оседает и стекает водой вниз.

Потом придумали провести горячий дым не по одной трубе, а по сотне мелких трубочек: пусть они пронзят котел. Внутри горячие газы, а с наружной стороны их котельная вода, и пусть вода ухватывает теплоту от этих трубок.

Еще на грош двинулось вперед дело.

А в трубу все равно и после трубок этих вылетал горячий дым. Нет, не успевали трубки ухватить все тепло и передать в котел, воде.

Как поймать это тепло, что улетает в трубу? Вот: навертеть в дымовой трубе целый змеевик трубок, и в них пусть нагревается вода, ее мы будем подбавлять в котел, вместо того чтоб питать его холодной. Все-таки уловим хоть часть тепла в дымовой трубе и отправим его в наш котел. Это, конечно, помогло. Но тоже на грош.

Наконец, пришла в голову такая мысль. Ведь важна в работе паровика температура пара, именно пара: чем она выше, тем лучше. А мы ведь в котле греем все разом: и пар и воду; массу воды должны заодно нагреть, чтоб поднять температуру пара. Не проще ли нагревать пар отдельно? Вот идея: получать из воды пар, вести его по трубке в цилиндр, а по дороге, в этой трубке, накаливать его, сколько можно. Пар нагреть — это не то, что воду: гораздо меньше тепла надо. И вот пар из котла повели по трубке и по дороге завели в дымовую трубу, в самый ее низ, где не успели еще остыть горячие газы из топки. Пар перегревали. Машины с перегревом пара сразу подняли КПД (коэфициент полезного действия). Хотелось еще и еще накалить этот пар... хоть до тысячи градусов. Но тут поставило барьер масло. Смазочное масло в цилиндре, самое лучшее цилиндровое масло, не вынесло нагрева выше 400 градусов. Оно спекалось, твердело при более высокой температуре, поршень начинал драть цилиндр, и тут — стоп! Но до 400 градусов можно было перегревать пар — КПД паровиков поднялся. Но это был шаг не к победе, а лишь вдогонку моторам. Злостный «маклер» — котел — все драл и драл свои проценты.

А в это время уж новая мысль пришла в голову техникам. Чем возиться и обхаживать этого грабителя — котел, — нельзя ли просто не иметь с ним дела? Уж кто-то проектировал сделать двигатель наманер пушки: взрывать в цилиндре поршнями порох — пусть толкает взрывом поршень, как пулю в ружье.

С порохом, правда, дело не вышло, а светильный газ стали взрывать прямо в цилиндре над поршнем. Тут котел остался позади: не стали жечь светильный газ в котле, чтоб получить пар, а от пара работу. Нет, с какой стати давать котлу выпускать тепло в трубу, потом сколько тепла идет, чтобы нагретую уже воду заставлять кипеть, выделять пар. Тут все тепло идет прямо в цилиндр и без всяких «маклеров». Не надо было никакого котла — этой орясины с топками, трубами. А когда новая машина — этот взрывной мотор — стала работать на бензине, на керосине, на нефти, — тогда паровикам пришлось серьезно думать о конкуренции.

Тут уже (для моторов) заговорили о таких КПД, как 25 процентов, кое-где достигли 30 процентов. Это значило, что ⅔ тепла улетает вон, но это значило тоже: мотор втрое выгоднее работает против паровой машины.

А паровая техника обогатилась уже новой догадкой.

Ведь пар-то уходит из цилиндра после работы горячий, с теплом! Куда мы это тепло деваем? Вылетает оно в небо не хуже чем из дымовой трубы. А вот идея: смотрите, если стакан ополоснуть кипятком и поставить его вверх дном на блюдце с водой, пар от кипятку в стакане, что остался, остынет, обратится в воду, в ста-

кане будет пустота, и стакан начнет тянуть в себя воду. Так вот, если пар из машины выпускать не на волю, а отводить по трубе в ящик и там его охлаждать? Ведь ящик будет тянуть в себя, как наш стакан на блюдце. Пусть эта пустота тянет поршень к себе, когда на него с другой стороны напирает пар, — это поможет пару двигать поршень.

Так и сделали. Ящик назвали холодильником. Охлаждался он так: его весь пронизали трубками, и в этих трубках шла непрерывно проточная вода. Это помогло уж не на грош. Теперь паровая машина давала КПД — 18 процентов. Но все же она чуть не вдвое отстала от моторов. Значит, новые моторы оказались вдвое экономичнее паровых машин, работающих с «маклером»-котлом.

Почему же все заводчики не бросились сразу на такую выгодную новинку? К чорту все паровики! Долой старье!

Казалось бы, должна пойти во всем мире суетня. Наперебой и в очередь все хватали бы моторы. Ничуть не бывало!

Помимо одного недоверия к новинке мешала перестройке целая туча обстоятельств. Вот хотя бы: мотор работает на жидком топливе, на нефти. А нефть по-настоящему в двух местах своя: у нас да в Америке. Для всех остальных — это заграничный товар. А ну как не поладят с заграницей, взвинтится бешеная цена на нефть! И моторам этим рад не будешь и всей этой тепловой экономии. Да и денег не хотелось капиталистам тратить, пока можно было обойтись с паровой машиной.

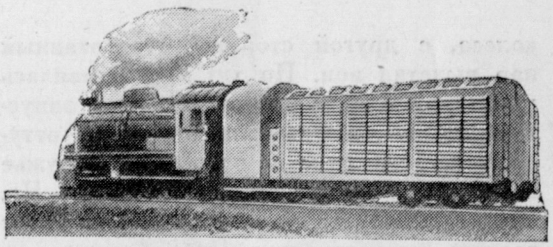
А потом вот еще неудобство. Мотор требует ровной работы, без толчков. Внезапное препятствие, неожиданная перегрузка — мотор стал наглухо. Заводи снова. А паровая машина тужится, хоть и станет иной раз, но пар нажимает на поршень и будет давить, пока не одолеет задержки.

В паровозном деле, например, — это первейшая статья. Но мотористы не сдавались. Великий человек в моторном деле — Дизель — выдумал машину, где нефть не взрывалась в цилиндре, как порох в ружье: она сгорала постепенно, и газы давили на поршень, как пар в паровой машине. Этот мотор так и назвали «дизелем». Мотор стал работать еще экономнее. Работать взрывами — ведь это то же, что закрывать дверь ударами кулака. А если дверь постепенно разгонять, то ведь ее можно закрыть и мизинцем.

Двигатель Дизеля работает так. Поршень по пути вниз засасывает воздух в цилиндр. По пути вверх он сжимает этот воздух до 5 атмосфер давления. От такого сжатия воздух нагревается до 500 градусов. И в это время в этот раскаленный воздух под еще бо́льшим давлением вбрызгивается нефть. Нефть загорается. И пока она горит, газы толкают поршень обратно, вниз. Силой этого движения разгоняется тяжелое маховое колесо. Оно сразгону продолжает вертеть машину. Машина сразбегу гонит поршень вверх. А в цилиндре уж открыт выход для нефтяной гари. Она вылетает вон. Машина сразгону тянет поршень снова вниз и засасывает свежий воздух, поршень снова летит вверх, но цилиндр уже наглухо закрыт. Поршень сразгону сжимает воздух, и тут опять вбрызгивается нефть. Новый удар, новый толчок поддает ходу маховику, и опять машина за счет этого разгона проделывает всю подготовку: выталкивает поршнем вон нефтяной дым, засасывает и сжимает воздух.

Но для работы дизеля нужна нефть. А вдруг будет война?

Мотористам пришло в голову: а ну-ка в этот дизель пустить угольного порошку. Ведь угольная пыль горит в воздухе, если ее поджечь. Попробовали и вышло: можно работать без нефти. Угольный порошок заменил дизелю нефть. Тридцать



Советский паровоз «с конденсацией пара». У него пар из цилиндра не выпускают на волю, а он идет в холодильник.

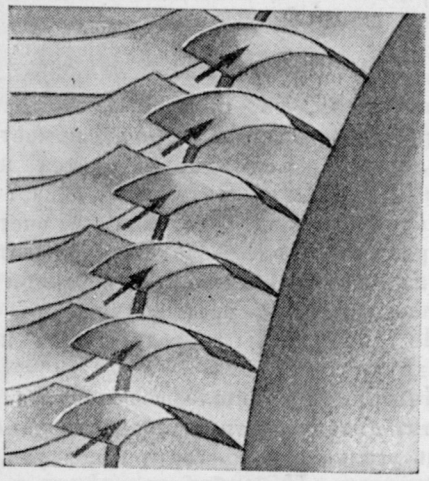
пять процентов — вот какой КПД показал дизель! Ни одна паровая машина не могла с ним тягаться. Но вот какая мысль спасла паровую машину.

Все это устройство: поршень, железная «рука», что к нему приделана, — все это ходит взад да вперед. Едва успеет разогнаться в одну сторону, как стой! Весь разгон надо удержать и разгоняться в другую сторону. Даром, выходит, и разгонял-

ся. Даром пропала сила. Сколько ее уходит на каждой остановке поршня по концам цилиндра! Нельзя ли без этих остановок?

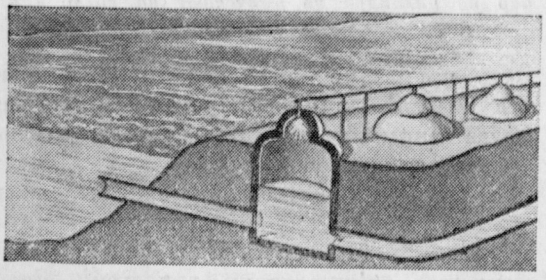
Придумали: дуть паром на колесо с крылышками по краю, с крылышками, как у ветряной мельницы. Сделать ветряк, только вместо ветра пусть дует пар. Тогда колесо будет вертеться, никаких остановок не будет и пар только будет поддавать ходу колесу, непрерывно дуя в лопатки.

Колесо прикрыли коробкой, чтоб пар не растекался в стороны. С одной стороны дули паром на крылышки (лопатки)



Пар из щелей дует на лопатки турбины, и это ее вращает, как ветер мельницу.

колеса, с другой стороны отработанный пар вылетал вон. Но тут еще появилась мысль: а если устроить, чтоб пар запускать между лопатками и давать ему оттуда вылет, как пуле из ружья? Ведь ружье отдает, толкает назад при выстреле. Ну, значит, и пар, вырываясь из колеса, будет толкать его и закрутит. Попробовали — и



Цилиндр-насос. В левую трубу входит вода из реки, в правую сила взрыва гонит воду наверх, в бассейн.

вышло. Как будто бы на колесе приделана была сотня пистолетов и они непрерывно бы палили, а их отдачей вертелось бы колесо. Эти машины назвали «паровыми турбинами». Они сразу же двинули вперед паровое дело. Ведь к тому же и холодильник тут тоже пустили в дело. Пар из котла дул в лопатки турбины. А за турбиной шел ход в холодильник. Холодильник тянул в себя пар, и это поддавало пару еще больше скорости, и он еще быстрей вертел турбину. А котел все равно и для турбины нужен. Под котлом жгли топливо, и котел не отказывался от своих «комиссионных».

Но где же в котле самый расход тепла, что обходится дороже всего?

Нагреть в котле воду и держать ее нагретой — нет, на это не так уж велик расход. Пока машина стоит под парами, — кочегарам нечего делать. Но вот машина двинулась, пошел из котла пар. Теперь шевелись, кочегар! Надо воду, нагретую до кипения, обращать в пар. Вот на это-то превращение воды в пар, на парообразование, идет масса тепла, тут-то и начинается трата топлива.

— Почему мы уперлись в воду? — решил один инженер. — Может быть, найдутся другие жидкости, которые не будут так дорого брать, чтоб обратиться в пар? Вот хоть бы ртуть!

Действительно, ртуть во много раз легче образует пары. Готово: сделали котел для ртути. Ртутные пары, конечно, в воздух не выпускали. Их в холодильнике снова обращали в ртуть, и ртуть шла опять в котел. Но беда в том, что ртути в речке не наберешь. А потом малейшая утечка ртутных паров — это отрава для всех, кто стоит при такой машине.

Но на этой машине всем воочию стало ясно, что главное «грабительство» котла в том, что вода туга на пар, если так можно сказать: при работе с водой очень уж много тепла идет на парообразование.

Техники понимают, что поршень с его «рукой» — это тоже «маклер»: за передачу силы из цилиндра на вал машин он тоже берет немалые проценты.

В одном случае удалось вышвырнуть вон и поршень и все эти железины. Но это исключительный случай. Англичане при устройстве водопровода в Лондоне сделали такой вот насос: цилиндр, как у обычного мотора, только без всякого поршня; вместо поршня поверхность воды. Взрыв наверху в цилиндре гонит во-

ду вниз, где ей один выход — в отводную трубу. Она бросается туда с силой и поднимается в бассейн. Клапан за ней закрывается. Открывается другой клапан от приемной трубы. И из реки снова входит в цилиндр вода. И снова взрыв.

Но это просто удачный случай — насос. Но вертеть вал такой машиной нельзя.

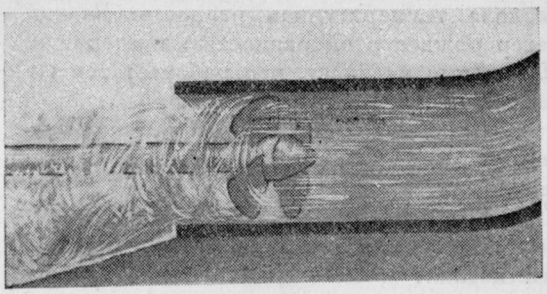
Газовики решили здесь пойти по пути паровой техники: сделать газовую турбину. Пусть сгорает нефть, пусть газы, вместо того чтоб толкать поршень, жмут на лопатки турбины. Как бы хорошо: два «маклера» вон — котел и поршневое болтанье взад да вперед! Бьются техники над этой задачей. Вся беда, что такая машина очень разогревается, раскаляется докрасна. И пока еще тут не выдумали никакого охлаждения.

Но тут я не хочу больше говорить о борьбе моторов с паровой машиной. Дело сейчас уж ясно: если с одной стороны греть, а с другой холодить, то довольно поставить любую бочку с водой на солнце, из нее провести трубу в погреб, в закупоренный холодильник. Там пар остудится, получится засасывание, и пойдет дуть струя по этой трубе из бочки в погреб. Значит, по дороге в этой самой трубе можно поставить маленькую турбинку, и она должна вертеться. А если это сделать в большом виде, то и большую турбину можно запустить. лишь бы в одном месте было всегда теплее чем в другом.

Это называют перепадом температуры.

Вот, между прочим, что придумал один заводской инженер. На заводе работали дизеля. У них цилиндры с двойными стенками, и между стенок все время пропускают воду. Это для того, чтоб цилиндры не разогревались докрасна. Эту воду выпускали вон, прямо в пруд. Инженер подумал: «Сколько тепла вон выбрасывают. Неужели нельзя его в дело пустить?»

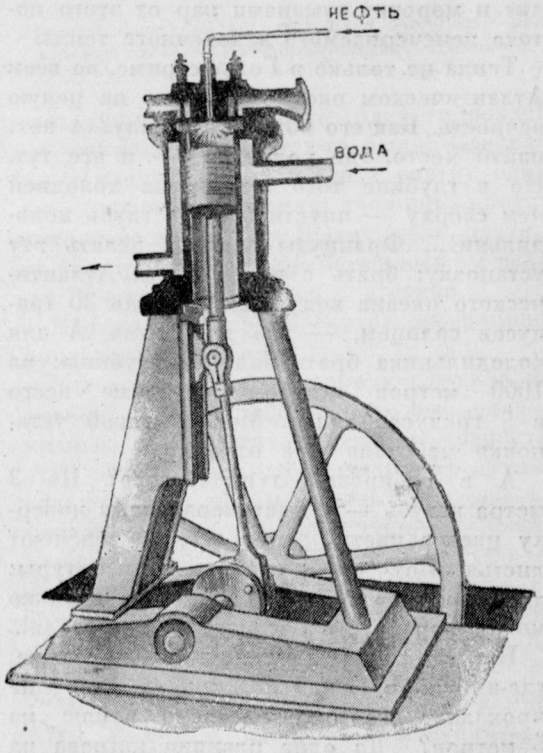
Сделал простую железную цистерну, налил туда воды и в нее провел отопление той самой горячей водой, что шла раньше в пруд. В цистерне вода нагревалась, давление поднялось на самый пустяк, но инженер повел оттуда трубу на холодильник, а по пути поставил турбины. Оказалось, что эти турбины дали заводу лишних 8000 лошадиных сил. И вода вовсе не кипела в этих цистернах: она просто была горячей чем холодильник. Выходит, что нужен один перепад температуры, — и готова



Турбина в потоке воды. Вода на ходу поворачивает водяную турбину, как ветер ветряную турбину — ветряк. КПД такой установки — 93%.

струя, где можно поставить турбину. Разница температур — вот что создает работу.

А рядом с паровой мельницей работает мельник на ветряке и думает: «У нас работа идет без всяких температур, ветром». Нет, мельник! Этими температурами и вы живы. Греет летнее солнце азиатские степи, разогревает землю — ногой не ступить, а в Индийском океане не прогреть солнцу воды, и вздымается воздух над азиатской пустыней, а на его место летит прохладный с океана. Три месяца кряду дует крепкий южный ветер на Индию: его



Дизельмотор. Между двойными стенками цилиндра течет вода, чтобы охлаждать цилиндр. Над поршнем загорелась нефть, и газы толкают поршень вниз.

создала температурная разность. Всякий ветер рожден этой разностью температур. И мельник не знает, что работает тем же самым, что и его паровой сосед.

— Ну, я уж обхожусь без помощи температур! — похвастается водяной двигатель.

Нет, и здесь то же. Почему поток течет сверху вниз, кто поднимает воду в его истоки?

А вот взгляните на горные вершины: это холодильники, где оседают снегом облака, и потом оттуда текут потоки. Солнце наполняет паром воздух над водами, пар подымается, густеет в холодной высоте в облака, и выливаются облака дождем, заносят воду на высокие места. И будь всюду одна температура — откуда бы взяли воду высокие истоки рек? Все та же разность температур родила и водяную силу. Ветряк — воздушная турбина — и гидроустановка — водяная турбина — обязаны своей силой разнице температур.

Но вот задумались техники: что ж мы так бьемся над созданием этой разницы— и кипятим и холодим? Ведь вон сколько тепла в океане, вон Гольфстрим несет свое тепло в Ледовитый океан, где над теплой водой дует ледяной шторм и студит и морозит туманами пар от этого потока неисчерпаемого вековечного тепла!

Тепла не только в Гольфстриме, во всем Атлантическом океане запасено на целую вечность. Как его обратить в силу? А вот: найти место, где холодней, — и все тут. Но в глубине того же океана холодней чем сверху — опустить в его глубь холодильник... Французы взялись делать эту установку: брать с поверхности Атлантического океана воду, нагретую до 30 градусов солнцем, — это для котла. А для холодильника брать воду из глубины: на 1000 метров вглубь вода уже всего в 5 градусов тепла. Модель такой установки работала уже отлично.

А в сибирской тундре лето? На 3 метра вглубь — и идет мерзлота, а поверху цветут цветы, зреет ягода, зеленеют листья. Вот он, перепад температуры: хоть коротко северное лето, а сколько может наработать бесплатный двигатель!..

Ну, а где нещадно жарит летнее солнце, где-нибудь в Средней Азии, — ведь не прокаляет же оно насквозь землю на 5 метров? Да одна разница нагрева на солнцепеке и в тени что может дать!

Выдумали вот что: устроить парник с двойными стеклами, в нем поместить трубы с водой. Трубы зачернить: черное сильнее нагревается солнцем.

А солнечное тепло попадает под стекла, как рыба в вершу: войти может свободно, а выйти — никак. Стекло свободно пропускает солнечные тепловые лучи, но лучи тепла от нагретых предметов стекло уж не пропустит. У нас в СССР, в Ташкенте, в таком парнике в сентябре вода дошла в трубах до 180 градусов — это уже готовая для работы энергия. Но у нас на этом не остановились и сейчас все время работают над проектами солнечных установок.

В сожженной степи можно заставить то же солнце, которое ее сожгло, доставать воду из-под земли и орошать всю степь! Чего тут только не вырастет — в тех самых местах, где сейчас песчаное море.

Но одному ученому показалось и этого всего мало: и солнце и ветер — все это не тот постоянный и верный источник силы, какой хочет человек для своего удобства. Ученый вспомнил о недрах земли, где не остывшее еще ядро земли хранит в себе гигантский запас тепла. Чем дальше в глубь земли, тем жарче: на 100 метров 3 градуса. Уже на глубине 4000 метров должна кипеть вода. Ученый предложил проложить туда трубу, в нее лить воду, а по другой трубе пусть выходит готовый в дело пар. Действительно— это очень уж здорово — овладеть такой топкой! Но на 4 километра вглубь проложить две трубы... нет, пока что техника от такой работы отказывается. Но это — пока. Не знаем мы, о каком новом открытии крикнут нам из окна какой-нибудь лаборатории...

Но вот как будто наметился путь, которого держится сейчас мировая техническая мысль: найти способ добывать даром готовую механическую энергию.

Нашли? Конечно: вон Волховстрой, Днепрострой, Рионгэс — что ни год вырастают эти гиганты, и без остановки самые реки подают им воду на турбины.

Даровая, кажется, сила, так вот и ладно; можно забыть об этом проклятом КПД, из-за которого так дерутся и посейчас моторы с дизелями, дизеля с паровиками, паровики — с турбинами, все хлопочут, тужатся, выскребывают лишний процент пользы, полпроцента!

Но КПД тут как тут. Хотя энергия реки даровая, да, чтобы поймать ее, надо построить плотину, электростанцию, поставить турбины. Стоит установка больших трудов, работы тысяч людей и машин. Зачем же давать зря пропадать усилиям и средствам? Надо, чтобы наши труд и средства природа как можно скорее отдала обратно. Если мы пропустим часть силы реки даром, — это значит, что ее полезное действие понижается.

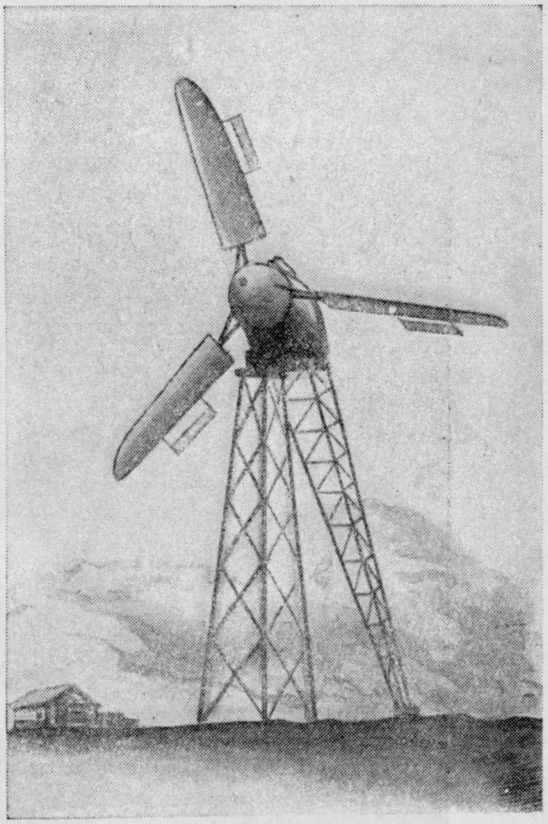
То же положение и у ветряка — настоящего ветряка, который будет вертеть динамомашину и запасать в аккумуляторы электричество. Ведь его не стоит ставить где попало. Его поставят, где сильней и чаще бывает ветер. И строить мы будем ветровую станцию в Крыму, на скале Ай-Петри!

Ветер мы хотим поймать полностью, насколько можем. И никто лучше нас в Союзе не научился этому: наш Институт аэродинамики ЦАГИ построил ветряк с 40 процентами КПД: на 10 процентов перекрыт американский рекорд!

У нас хозяин — социалистическое государство, — и живет он по плану. В нашем государственном плане рассчитано, сколько электричества провести на рудные разработки, сколько в угольные шахты, сколько потребуют заводы. Да не только те заводы, что сейчас работают на угле, нет: те заводы, что будут построены здесь, вокруг этой фабрики энергии, и вошли в государственный план вместе с проектом энергетической базы.

По нашему плану, определено, где и как выгоднее всего брать энергию из природы, кому в первую очередь она нужна и кому во вторую, куда переводить энергию из района, где много рек и водопадов.

И мы имеем право и основание сказать: мы добыли все, что можно из этой воды, что здесь, в реке, т. е. употребили ее силу с наибольшей пользой для социалистического хозяйства, с наибольшим КПД. А в капиталистических странах это невозможно. Высчитают инженеры, что вот тут, на горе, хорошо поставить ветряк, а хозяин горы скажет: не хочу ветряка, хочу здесь себе дачу построить. Или такую цену за землю заломит, что никакая даровая энергия, хоть дуй здесь круглый год ураган, этой цены не окупит. Или подсчитают инженеры, что выгоднее вместо трех тепловых построить одну гидроэлектростанцию. Но не тут-то было! Владельцы тепловых станций сунут взятку одному—другому чиновнику: глядишь, проект, выгодный всему населению (ведь платить за электричество сразу пришлось бы меньше!!), спрятали глубоко под сукно.



Это наш советский ветряк с КПД — 40%. У него крылья сделаны по форме крыльев самолета.

Что же такое КПД — этот коэфициент полезного действия?

Мы хотим, чтобы природа служила человеку честно: работала во всю силу и уменье. В капиталистическом хозяйстве это невозможно. Капиталисты думают только о том, чтобы нажить побольше капитала, а не о том, как лучше и полнее использовать силы природы. Мы можем этого добиться: у нас всем рекам и заводам один хозяин — социалистическое государство, — и мы работаем по единому хозяйственному плану.

Мы боремся за самый высокий в мире КПД, чтобы с наибольшей технической выгодой использовать силы природы. По этому пути — пути завоевания наивысшего КПД — и идет наша советская техника.

Рисунок Веры Хоменко, г. Славянск

„Девочка с кошкой".

П О Ч Т А

Маруся и ее подруги

Письмо матери

Мне часто говорят, что у меня хорошая дочь. Маруся, конечно,—неплохая девочка. Она отличница, председатель пионерского отряда, много читает, рисует. Но, если посмотреть, как Маруся ведет себя дома, я уверена, что многие изменят о ней свое мнение.

У Маруси много подруг. Они тоже неплохие девочки. Конечно, они непохожи на Люсю, о которой писалось в прошлом номере журнала «Пионер». Девочки часто приходят к нам. Они играют, веселятся, переворачивают всю мебель. Это не беда, но не было еще случая, чтобы, уходя, они убрали за собой: все остается разбросанным, и Маруся говорит: «Мама, убери, пожалуйста».

Маруся и ее подруги считают позорным делать что-нибудь дома и совершенно не задумываются над тем, что и дома у них есть обязанности.

Я понимаю, что девочки заняты, но неужели у них нет свободной минутки, чтобы убрать за собой?

К своим вещам они относятся плохо. Юбки, платья валяются под кроватями. Если мама не уберет, то это все так и останется.

Как-то я купила Марусе новый берет. Марусе он очень понравился, она целый день ходила в нем. В это время на улице шел дождь. Я говорю Марусе:

— Не надевай сегодня берет: ведь идет дождь. Наденешь завтра.

Но Маруся меня не послушалась. Она принесла берет домой в таком виде, что больше его уже нельзя было надеть. Иногда вдруг из дому исчезает какая-нибудь вещь. Я спрашиваю Марусю: где вещь? Маруся не знает, а потом оказывается, что она ее кому-то отдала, но кому, не помнит. У нас с прошлого года лежит купальный костюм одной девочки, и она не приходит за ним, а Маруся не собирается его относить.

Однажды Маруся попросила у меня, чтобы я купила ей лыжный костюм.

— Но ведь у тебя же есть.

— Знаешь, мама, он мне мал, и я его отдала.

Маруся и ее подруги совершенно не задумываются над тем, что эти вещи куплены не на их деньги, что отец и мать должны работать для этого. Они думают только о себе: вынь да положь!

Я помню, какую трагедию разыграла Маруся, когда я отказалась купить ей новое платье. Она доказывала мне, что я плохая мать, что я не забочусь о ней. А между тем у нее есть совсем неплохое синее шерстяное платье, его можно носить.

Но Маруся требовала нового платья. Я сказала, что когда папа получит деньги, надо сначала бабушке купить платок, а в следующую получку, может быть, купим платье. Маруся и слышать об этом не хотела.

— Меня все в школе засмеют, если я приду в синем платье. Сейчас носят длинные платья, а оно короткое.

Конечно, нет ничего плохого в том, что девочки хотят хорошо одеться. Но значит

ли это, что они должны забывать о родителях и думать только о своих нарядах?

За последнее время девочки стали слишком много говорить о нарядах. Маруся не может пойти в школу, если чулки не в тон туфлям. Если же она узнает, что я не успела их выстирать, то бывает очень обижена.

Я до сих пор со смехом вспоминаю, как Маруся сама себя наказала. С прошлого года все девочки стали ходить на высоких каблуках. Как-то у Маруси сломался один каблук. Я отдала починить туфли. Когда Марусе надо было идти в школу, туфли были еще не готовы. Маруся категорически заявила, что в туфлях на низком каблуке она не пойдет. Она надела мои туфли и пошла в школу. Я стояла у окна и смотрела, как Маруся еле передвигалась по улице, хромала. Туфли были малы ей, каждую минуту она останавливалась. Маруся пришла из школы и еще в коридоре сняла злополучные туфли на высоких каблуках.

Можно привести много примеров, когда девочки начинают носить «особенные» платья, потому что так все носят. «Такая мода», — говорят они. Марусина подруга Вера ходит в уродливых красных туфлях с красными бантами, потому что кто-то сказал, что это красиво.

Сейчас отец и мать Веры уехали работать в другой город, и она живет с братом и сестрой. У них большая квартира, и там часто собираются все ребята.

Однажды Маруся говорит:

— Знаешь, мама, я получила сегодня «посредственно».

Я была очень удивлена спокойным видом Маруси. Раньше она волновалась, когда получала посредственную оценку. Я сказала ей об этом.

— Мама, ты рассуждаешь по-старому! Разве уж так обязательно учиться отлично? Вот у Веры все ребята говорят, что учиться посредственно — это все равно, что отлично.

Я сказала, что мне очень неприятно слышать такие рассуждения, и я жалею, что Маруся, такая большая девочка, не имеет своего мнения.

Через несколько дней Вера позвонила Марусе по телефону и стала говорить, что сегодня в школе трудный день, лучше пойти в кино. Маруся отказалась очень нерешительно. Вера не была в тот день в школе.

Я сказала:

— Странный у вас способ преодоления трудностей. Если трудный день в школе, так лучше не ходить? Так, что ли? Плохо бы мы жили, если бы все так относились к своей работе.

Больше всего меня удивляет эгоизм девочек. Маруся спит с бабушкой в одной комнате. Бабушка плохо чувствует себя, она хочет спать, но Маруся не тушит свет, потому что ей нужно дочитать книгу.

У Маруси два лица: одно лицо хорошее, когда Маруся в школе, и другое, — когда она дома. И вот этого-то, второго лица многие не видят, и, пожалуй, вожатый пионерского отряда и не догадывается, что его пионерка, активистка, может так грубо разговаривать с мамой и бабушкой. Нагрубить бабушке — в этом она не видит ничего плохого: ведь потом можно извиниться.

Маруся и ее подруги мало думают о том, каких трудов и борьбы стоило советскому народу завоевать им хорошую жизнь. Они берут это все готовым, и, стыдно сознаться, многие из них растут барчуками, которые привыкли, что за них кто-то все делает.

А ведь всего три года осталось до окончания школы. Готовы ли они к самостоятельной жизни?

У марусиных подруг считается хорошим тоном разговаривать грубо, они не здороваются, об учителях говорят только иронически, словно это не их товарищи.

Я думаю, что многие девочки согласятся со мной. Может быть, они не скажут этого вслух, но подумают и изменят свое поведение.

Ведь Маруся, ее подруги, все наши ребята растут в такую эпоху, когда нужны хорошие, настоящие люди. Черствые эгоисты никому ненужны. Наши дети должны вырасти людьми социалистического общества, которым чужд эгоизм.

Мы печатаем письмо марусиной мамы и хотим, чтобы все девочки и мальчики прочли это письмо и подумали об ее словах. Ведь, наверно, не одна Маруся так ведет себя дома.

Мы просим всех наших читателей написать нам свое мнение о письме марусиной мамы.

Днепр зимой

Письмо и рисунки Шуры Примаченко

Запорожье, Днепропетровской области, ул. Грязнова, № 12

Днепр давно уже замерз. По берегам лежит белый пушистый снег. Все веточки кустов и деревьев покрыты инеем. Солнце еще только всходит, а мы уже на ногах. Впереди идет дедушка на лыжах с ружьем за спиной, за ним я на лыжах, а за мной Петя. Он на коньках.

— Ну как, хорошо на коньках? — спрашиваю я Петю, который все время увязает по колени в снег.

— А вот посмотрим, как ты на лыжах по Днепру поедешь,— говорит Петя.

— Смотри, Днепр-то замерз, и не узнаешь его. Смотри, вот здесь три месяца назад мы на лодке катались,—сказал я, показывая на лед.

Лыжи расходились по льду, и я часто падал.

— Ну что, ты доволен лыжами? — говорил Петя.

Мы приближались к острову. Через несколько времени мы углубились в густые заросли острова.

— Присядьте,— вдруг сказал старик, показывая рукой, чтобы мы спрятались за дерево, а сам снял ружье и прицелился в ястреба: он кружился над нами, держа в когтях голубя.

Дедушка старательно нацелился, чтобы не зацепить голубя. Прогремел выстрел. Далеко раздалось эхо. Ястреб камнем упал вниз, не выпуская голубя.

Голубь был живой, я взял его и сунул за рубаху.

Мы проехали двадцать метров и увидели большое замерзшее озеро.

— Вот здесь я рыбу ловил,— сказал Петя.

— Остановитесь здесь,— сказал дед, — а я нарежу лозы, да и домой поедем.

Тут случилось несчастье. Лесник прорубил у берега полынью. Петя разогнался на коньках, не смог остановиться и упал в нее.

Я бросился к Пете. Он был по пояс в воде.

— На, берись за палку! — сказал я, подавая палку, и потянул, что было силы.

Наконец, он вылез. Дрожа от холода, он еле стоял на льду. Поддерживая его, я направился к дедушке.

Петя упал в прорубь.

— Петька, как это ты? — ласковым голосом спросил дед.— Плохо дело! Ну мы сейчас все устроим. Здесь, на берегу озера, стоит изба лесника, он мне знаком.

Подхватив Петю под руки, мы направились к избе лесника. Она была совсем близко. Я заглянул в окно и увидел, что в избе топится печь.

— Дедушка, можно обсушиться у твоего огня? — спросил я.

Старик, сидевший у печи, посмотрел на меня добрыми глазами и сказал:

— Можно, заходите!

В избе было тепло и уютно. Лесник угостил нас чаем, мы обогрелись и поехали домой.

Наш депутат

Письмо Тамары Крутовой, Веры Власовой, Люси Балакиревой, Мани Саповой, Лиды Власовой, Мити Андреева, Лени Данилова

Ореховозуевский район, деревня Войново

Однажды к нам в деревню приехала Прасковья Ильинична Голубева. Тогда она еще была кандидатом, а сейчас она депутат Верховного Совета СССР. Мы про нее слышали много, но в лицо ее не знали, а тут мы с ней познакомились. И она нам даже помогла.

Дело было так. На собрание пришло так много колхозников, что мест не хватало и многим пришлось стоять. Стали говорить, что ребят надо отправить домой, а мы хотели быть на собрании и не уходили. Прасковья Ильинична посмотрела на нас и говорит:

— Да, пусть ребята послушают, это им пригодится.

Так мы и остались на собрании. Мы встали у окна, совсем близко от президиума, и все хорошо слышали.

Прасковья Ильинична приехала к нам на автомобиле и в дороге, видно, здорово замерзла, хоть на ногах у нее были надеты валенки. Но собрание было в школе, а у нас в школе тепло. Она скоро согрелась, сняла шубу и платок с головы. Тут председатель дал ей слово. Голос у Прасковьи Ильиничны совсем не громкий, но в зале было так тихо, что каждое слово слышно.

Прасковья Ильинична стала рассказывать про свою жизнь, как у нее отца уволили с торфоразработок за забастовку, как ослепла мать и как она начала работать с десяти лет. Сначала она поступила служить нянькой, а потом стала работать на Дрезненской фабрике. У них в семье было двенадцать ребят, и все работали, а не учились.

Прасковья Ильинична до сих пор работает на Дрезненской фабрике, только поступила она ученицей, а теперь самая лучшая ткачиха в Орехово-Зуеве. Она была на Первом всесоюзном совещании стахановцев в Кремле и видела товарища

Прасковья Ильинична Голубева — депутат Верховного Совета СССР.

Сталина. Когда она рассказывала про это совещание, мы ей очень позавидовали. Мы даже хотели ее попросить поподробнее рассказать про товарища Сталина и как в Кремле все устроено, но не решились. А она говорит:

— Для меня было очень большое счастье видеть товарища Сталина, я почувствовала себя еще лучше и сильнее, как приехала домой, стала работать на двенадцати станках вместо шести и подругам своим помогала работать по-стахановски.

Когда Прасковья Ильинична кончила говорить, с задней скамьи встал наш колхозник, дядя Леша. Дяде Леше 64 года, волосы у него седые, а он самый веселый человек в колхозе. Дядя Леша поклонился Прасковье Ильиничне и говорит:

— Гляжу я на тебя, Прасковья Ильинична, и радуюсь, что ты стала государственным человеком, раньше таких женщин не было.

Дядя Леша рассказал, как на фабрике у

Саввы Морозова управитель-француз издевался над женщинами, а они только плакали и никому не смели пожаловаться.

Потом выступали другие колхозники, и все говорили, что Прасковья Ильинична — очень хороший человек, что она никогда не отступится от народа.

И когда были выборы, все голосовали за Прасковью Ильиничну, и мы очень рады, что она теперь депутат Верховного Совета.

Случай в охотничьей избушке

Стихотворение Яши Таратина

д. Верхняя Золотица, Архангельской обл., Приморского района

Проходит летняя пора,
На смену осень настает
И над природою права
Свои законные берет.
Осиротели поле, луг,
Лишь ель стоит качаясь,
И стаи птиц уже на юг
Несутся, с криком удаляясь.
В лесу начался листопад,
И листья падают, как град.
На мутном небе торопливо
Спешат куда-то облака,
И голый лес глядит тоскливо,
В тумане скрылась вся река.
Из туч осенних, серых
Дожди все чаще выпадают,
Вода с деревьев оголелых,
Как слезы, землю орошает,
И лес под ветер заунывный
Шумит неделями подряд,
Как будто плачет горемычный:
Жалеет лиственный наряд.
Стоит дождливая погода,
Затем морозы настают
И через реки пешеходам
Мосты надежные куют.
Свои права берет зима,
Щедра природными дарами:
И лес, и луг, и все дома
Покрылись пышными коврами.
И снегу рады мужики:
Готовят ружья-дробовики.
Теперь охотиться легко:
По снегу зверя ясен след,
И не уйдет зверь от него:
Собака все равно найдет.
И с наступлением зимы,
Надевши теплые пимы [1],
Все, кто имеет дробовик:
Мужчина, парень иль старик,—
Коль есть охотничий задор,
Спешат с собакой в темный бор
Там дичь и звери кормятся,
Гуляет белый горностай,
И зайцы, белки водятся,
Кому не лень,— стреляй!
За белкой и куницами,
За рыжими лисицами,
За выдрой дорогой
Охотники бывалые уходят далеко.

Чуть снегом землю покрывает,—
Василий Павлович патроны
При свете лампы заряжает.
Он завтра с другом Родионом
Пойдет на Летние озера,
Что к югу в тридцати верстах,
Чтоб поохотиться на зверя,
Который ходит в тех местах.
Там, у озер, в глуши лесной,
Стоит избушка небольшая.
Туда охотники, стреляя,
Заходят зимнею порой.
Туда ж с собаками своими
Друзья-охотники идут,
В больших котомках за плечами
С собой провизию несут.

Они уходят на неделю.
Доносит лай издалека.
Охотник посылает пулю
В притихшего на дереве зверька.
До затерявшейся избушки
Весь день до вечера идут,
И вот она вблизи опушки,
Там ждет охотников приют.
А завтра рано, чуть светок,
Они охотиться пойдут.
Над лесом стелется дымок:
Они дрова в избушке жгут,

[1] Пимы — обувь из оленьего меха.

Готовят ужин над огнем.
В избушке ночь они проводят
В тепле, под шубами, а днем
В лесу, охотясь, всюду бродят.
Почуяв белок средь хвои,
Собаки прыгают и лают,
И тут охотники мои
Наводят мушку и стреляют.
А после шкурки обдирают,
К себе в котомочки кладут,
Собакам тушки отдадут,
А те тотчас же их с'едают.
На куньи слёды набредут
И по следам за ней идут.
Или, завидевши лису,
Василий Павлович идет.
Собака — верный друг в лесу:
От ней лисица не уйдет.
Иль горностая из норы
Ему собака раскопает,
Бедняжка прыгнет, но увы!..
Собака сразу же хватает.

И так в лесу весь день
Он с Родионом бродит,
А от стволов ложится тень:
Уж время к вечеру подходит,
Уже ко сну их клонит.
Добычу ценную несут,
В избушку на ночлег идут.
Пришли голодные, устали.
Вот топят печь, еду варят
И в печке чайник кипятят,
А после попили, поели
И за день добытые шкурки
В избе развесили для сушки.
Сидят, а сальник[1] чуть мигает,
И мысли мрачные идут,
Одна другую заменяет:
«В лесах тут лешие живут,
Там мертвецы средь ночи ходят,
И ведьмы по болотам бродят».
И так, в раздумье погрузившись,
И на ночь сальник потушив,
Ложатся спать, вглуху укрывшись.

Лежат, и мрак уже находит.
Вдруг слышат: из лесу подходит,
Скрипит, шуршит и... замолчало.
Насторожились мужики.

[1] Сальники раньше употреблялись для освещения у поморов. Вместо керосина в глиняный черепок наливалось тюленье сало.

И вдруг на крыше загремело,
Вблизи послышались шаги.
Невольно страх об'ял обоих,
Теперь им было не до сна.
Тревожить ночью вздумал кто их?..
Василий Павлович вскочил,
Из-под полка топор схватил
И стал у двери к косяку:
«Пусть голову задумает пихнуть,
Башку с размаху рассеку,
А там что будет, то и будь».
Тут мужики перекрестились:
К ним кто-то в сени застучал,
Толкнул сильней и отворились,
Но этот «кто-то» все молчал.
Василий Павлович поднял
В руках топор над головой,
В сенях же кто-то дверь искал,
Руками шарил за стеной.
Нащупав двери, отворил,
И знакомый голос проговорил:
«Э-э, тепло какое здесь,
Должно быть, житель есть».

То был — узнали мужики —
Старик по прозвищу «Куски»
Старик из ихнего села
Шел поохотиться сюда.
Стрелять задумал по пути
И засветло не смог дойти.
Пришел, с ног лыжи он снимает
И на крышу их бросает.
Снег отряхнув, к дверям идет,
Того не думая, что ждет
Его за этими дверями
(об этом знаете вы сами).
Когда же двери отворил
И теплым воздухом обдало,
Тогда старик проговорил
И этим спасся. То-то было
У мужиков отборной брани
По адресу виновника-бедняги.
Излив все бранные слова,
Опять ложится спать братва.
Встав утром, закусив,
Они втроем со стариком,
Про брань вчерашнюю забыв,
Опять уходят за зверьком.
И так охотятся, пока
У них запасы не выходят.
Тогда, оставив старика,
Домой с добычею уходят.

Скульптура Ноли Митлянского «Встреча Руслана с головой».

Зима

Стихотворение А. Зайцева

Москва, ул. Усачева, д. 19а, кв. 124

Проснулись дети поутру и видят:
На дворе лежит, сверкая, белый снег,
Стоят деревья в серебре,
Поляны тож засеребрились,
И окна инеем покрылись,
И хлопья белые, кружась,
На землю падают, ложась,
Всю землю белой пеленой
Укрыли, точно простыней.

Ледяной дом

Письмо Коли Кузнецова, Миши Герштейн и Толи Плехова

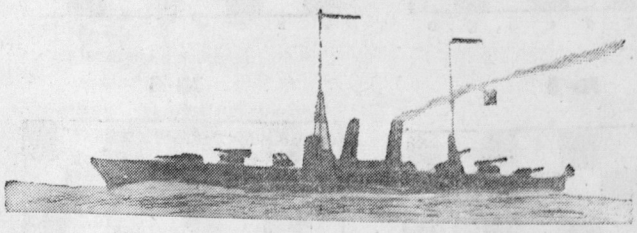
Березовский район, Воронежская область, село Рамонь, Новый поселок, д. № 15

В прошлом году мы сделали ледяной дом. Снег был липкий, и мы начали катать большие снежные комья. Из них мы слепили стены дома. Когда стены дома стали выше нашего роста, мы сделали крышу. Утром мы поливали стены и крышу водой. Когда дом был готов, мы сделали дверь из материи. Мы представляли себе, что мы в Арктике, и по целым дням играли в домике и выходили из него только на охоту и для наблюдений за погодой.

На берегу Каспийского моря

Письмо и рис. В. Хазина,

Махач-Кала, ул. Маркова, д. 33



Я живу на берегу Каспийского моря. Каждой весной у нас на море десятки катеров, ботов, баркасов, шлюпок, шхун — это рыбачья флотилия Дагрыбтреста..

У нас все время шли дожди, сейчас выпал снег. Море у нас почти всегда очень бурное.

Я очень интересуюсь кораблями и нарисовал сверхдредноут.

Мой зоопарк

Шуточные рисунки Юры Шибаева

Лиса-хвостатка.

Ученая сова.

Журавль длинноносый.

Веселые жуки.

Задачи, загадки,

игры и фокусы

Конкурс решений шахматных задач

Редакция об'являет конкурс решений шахматных задач. Всего будет напечатано 12 задач.

Условия конкурса:

1. За каждую правильно решенную двухходовую задачу участнику начисляется 1 очко, за трехходовую — 1½ очка, за четырехходовую — 2 очка, за решение этюда — 2½ очка.

2. При решении надо указывать все возможные способы.

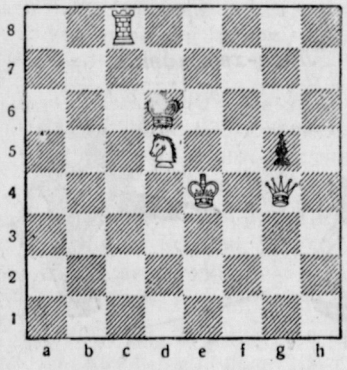
3. Последний срок присылки ответов — 1 апреля. Все ответы, присланные позже, не будут рассматриваться.

4. В № 4 «Пионера» будут напечатаны результаты конкурса.

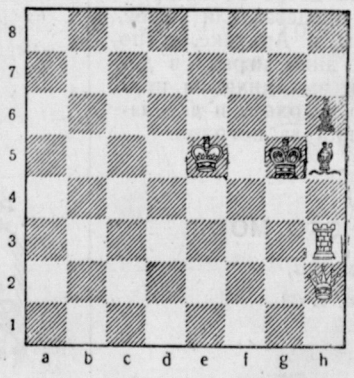
5. Для победителей конкурса устанавливаются пять призов: 1-й приз — шахматы с доской, 2-й — шахматная библиотечка, 3-й — вечная ручка, 4-й — перочинный ножик и 5-й — набор акварельных красок и кисти.

В этом номере мы печатаем первые шесть задач. Составлены они американскими проблемистами С. Лойдом (задачи №№ 1, 2 и 3) и В. Шинкманом (задачи №№ 4, 5 и 6). Условия всех шести задач одинаковы: белые начинают и дают мат в два хода.

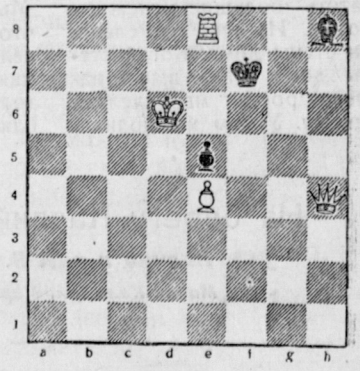
№ 1



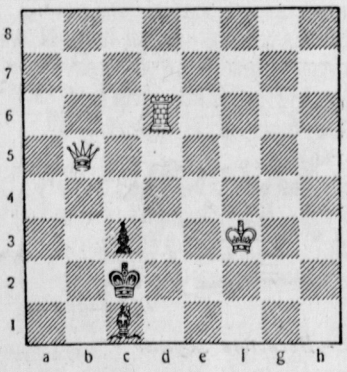
№ 2



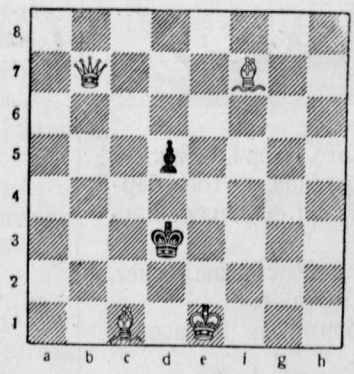
№ 3



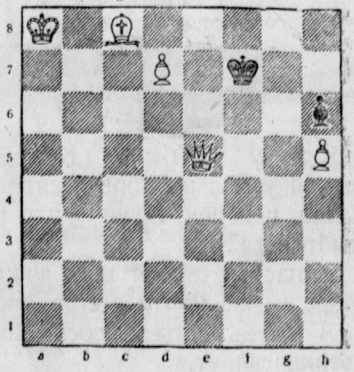
№ 4



№ 5



№ 6



Поезда и голубь

Из Москвы в Ленинград и из Ленинграда в Москву отправились одновременно два поезда — пассажирский и товарный, они идут со скоростью 50 и 30 километров в час. В момент отправления поезда, из Москвы вылетел голубь. Он летит со скоростью 75 километров в час. Голубь долетел до вышедшего из Ленинграда товарного поезда и повернул назад к пассажирскому, потом снова к товарному и опять к пассажирскому, пока они не встретились. Сколько километров пролетел голубь, если расстояние между Москвой и Ленинградом 640 километров?

Состязание часов

В комнате, на стене, висят стенные часы, а на столе стоит будильник. Однажды утром будильник начал спорить со стенными часами. Спор шел о том, кто из них показывает более правильное время.

Решили устроить состязание. Однако, в своем стремлении выиграть, будильник так увлекся, что начал спешить ровно на одну минуту в час по сравнению с точным временем.

Стенные же часы начали отставать ровно на две минуты в час по сравнению с точным временем.

Состязание окончилось на следующий день утром, когда стенные часы пробили семь часов утра; стрелки же будильника показывали в этот момент ровно восемь часов.

Спрашивается: в котором часу будильник и стенные часы начали свое состязание?

Ответы на задачи, помещенные в № 11

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

1. Передние ноги кенгуру чрезвычайно короткие, а задние, наоборот, сильно развиты. Когда кенгуру пасется и передвигается медленно, оно опирается на все четыре ноги. Но когда оно, спасаясь от преследования, развивает большую скорость, то передние, коротенькие ножки явились бы для него только помехой. С помощью же громадных задних ног кенгуру делает большие прыжки и стремительно несется вперед.

2. В воде (проруби) никогда не может быть температуры ниже нуля, иначе вода превращается в лед. Поэтому при больших морозах в воде гораздо теплее чем на воздухе и птицы отогревают ноги в проруби.

3. Органы чувств бегемота: уши, глаза и ноздри—расположены на голове так, что находятся в одной плоскости. Поэтому бегемот, выставив из воды только часть головы, может оставаться невидимым и в то же время видеть, слышать и дышать.

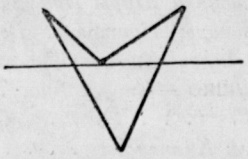
ЧТО НАПИСАНО НА СТЕНЕ

«Приближалась довольно скучная пора — стоял ноябрь уж у двора» — из «Евгения Онегина» Пушкина.

РИФМЫ

Ракета	*Малина*	*Спайка*
Комета	*Мякина*	*Утайка*
Карета	*Дубина*	*Стайка*
Газета		*Свайка*

НЕОБЫЧАЙНЫЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК

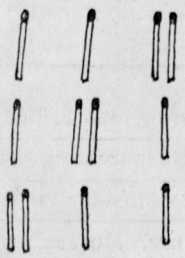


ШАХМАТНАЯ ЗАДАЧА

ТРИ РЕШЕНИЯ:

1. Лh3 — h1!!;	*Крg2 : h1;*
2. Крh4 — g4;	*Крh1 — g1;*
3. Ле6 — e1 ×.	
1. . . . ;	*Крg2 — f2;*
2. Крh4 — h3;	*Крf2 — f3;*
3. Лh1 — f1 ×.	
1. . . . ;	*Крg2 — f3;*
2. Лh1 — h2;	*Крf3 — f4;*
3. Лh2 — f2 ×.	

12 СПИЧЕК



ЗАДАЧА О ПАССАЖИРАХ

С удалением на восток восход и заход солнца, в сравнении с Москвой, происходят все раньше и раньше. Так, разница во времени между Москвой и Владивостоком — 7 часов: в то время, когда в Москве 8 часов вечера, во Владивостоке — 3 часа утра следующего дня. Поэтому пассажиры, едущие из Москвы и привыкшие ложиться спать по московскому времени (в 11—12 часов), укладываются спать тогда, когда по местному времени наступает утро (Омск), или даже люди уже встали (Хабаровск, Владивосток).

При возвращении же из Владивостока в Москву происходит обратное. В то время, когда во Владивостоке спят, в Москве еще работают учреждения. Поэтому пассажиры, едущие из Владивостока в Москву и привыкшие ложиться спать по владивостокскому времени, начиная с 3—6 часов позевывают, так как во Владивостоке они или спали бы или, во всяком случае, ложились бы спать.

ПЕРВЫМИ ПРИСЛАЛИ ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ № 11.

Погодин — Москва.
Бобылев — город Сычевка, Смоленской области.
Краснова и Дудникова — Москва.
Владлен Шнейдер — Москва.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Дворец — *Стихи С. Маршака. Рис. П. Кузьмичева* 3
Мужество — *Рассказ М. Пришвина. Рис. В. Цельмера* 5
На родине Сталина — *Б. Ивантер. Рис. П. Кузьмичева* 11
Садко — *Русская былина. Рис. Ю. Кискачи* 26
Сохман сын Рахмантьевич — *Русская былина. Рис. Ю. Кискачи* 29
Необыкновенный побег — *В. Шустов* 32
В лагере — *Б. Шатилов. Рис. Б. Винокурова* 36
День рождения Володи Ульянова — *Мариэтта Шагинян* 69
Вокруг света 74
Жених-призрак — *Рассказ Вашингтона Ирвинга. Перевод М. Гершензона. Рис. П. Митурича* . 78
Спорт 87
Научный телеграф 90
Германия под фашистским сапогом — *С. Гарбузов* 94
„Компас" — *известия Географического общества читателей журнала „Пионер" № 15.*
В честь пионерской организации 101
Разрушение и спасение природы — *Н. Солнцев* 104
История реки 108
Фонд Географического общества 109
Кто сильней — *Борис Житков* 110
ПОЧТА:
Маруся и ее подруги — *Письмо матери* 119
Днепр зимой — *Письмо и рисунки Шуры Примаченко* 121
Наш депутат — *Письмо Тамары Крутовой, Веры Власовой, Люси Балакиревой, Мани Саповой, Мити Андреева, Лени Данилова* 122
Случай в охотничьей избушке — *Стихи Яши Таратина* 123
Зима — *Стихи А. Зайцева* 125
Ледяной дом — *Письмо Коли Кузнецова* 125
На берегу Каспийского моря — *Письмо В. Хазина* 125
Шуточные рисунки Юры Шибаева 125
Задачи, загадки, игры и фокусы 126

На обложке картина художника Г. Нисского „Пограничники в тайге".

Отв. редактор **Б. ИВАНТЕР**
Зам. редактора **В. Фраерман** Отв. секретарь **В. Поддубная** Худ. редактор **М. Аскинази**
Сдано в набор 2/I-38 г. Подписано к печати 17/II—38 г. Изд. № 71
Уполномоченный Главлита № Б—31782. 82×110 1/16 бум. листа. 38 400 печ. зн. в печ. листе. 16 п. л.
Типография газеты „Правда" имени Сталина. Москва, ул. „Правды", 24. Заказ № 1. Тираж 100 000

Ц. 1938
Акт № 54

НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Постановка режиссера
В. ВАЙНШТОК
СЦЕНАРИЙ
О. ЛЕОНИДОВА и
В. ВАЙНШТОК
ПО МОТИВАМ РОМАНА
Р. СТИВЕНСОНА
Гл. оператор
М. КИРИЛЛОВ
Композитор
Никита БОГОСЛОВСКИЙ
Текст песен
поэта-орденоносца
В. ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА
Художники: Я. РИВОШ
С. КОЗЛОВСКИЙ
Звукооператор
Ф. ИЛЮШЕНКО
Ассистенты режиссера:
Л. ВОЙТОВИЧ.
Е. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН
Режиссер-монтажер
М. ШИГОВА
ПРОИЗВОДСТВО
„СОЮЗДЕТФИЛЬМ“

Цена 1 руб. 50 коп.

М1478
29
34